

АЛЛА ДЫМОВСКАЯ



**АБСОЛЮТНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ**

Герои Нового времени

Алла ДЫМОВСКАЯ

Абсолютная реальность

«Автор»

2016

Дымовская А.

Абсолютная реальность / А. Дымовская — «Автор»,
2016 — (Герои Нового времени)

Третья часть авторского литературного триптиха. «...Этот литературный триптих создавался на протяжении без малого двенадцати лет, с перерывами и заблуждениями, пока не сложилось то, что есть теперь. В одно делимое целое. Три образа, три стороны человеческой натуры, персонажи, их я называю – Герои Нового времени. Из нынешней интеллигенции, которая не погибла, не испарилась под чудовищным давлением хаоса и бескультурия, уцелела и возродилась, и в будущем, я надеюсь, задаст еще правильный вектор нашего развития. Три героя и три пространства – бесконечной личности, бесконечной Вселенной, бесконечной вариативности событий...» «...Леонтий Гусицин – он сам за себя говорит. «Может, я слабый человек, может, я предам завтра. Но по крайней мере, я знаю это о себе». Так-то. Он ни с чем не борется. Он вообще не умеет это делать. Даже в чрезвычайных обстоятельствах и событиях, в которые и поверить-то невозможно, хотя бы являясь их непосредственным участником. Но иногда бороться не обязательно. Иногда достаточно быть. Тем, что ты есть. Честным журналистом, любящим отца, хорошим сыном, верным другом. Порой для звания героя хватит и этого. Если ко всем своим поступкам единственным мерилom прилагается та самая, неубиваемая интеллигентная «малахольность», ее вот уж ничем не прошибешь – есть вещи, которые нельзя, потому что нельзя, не взирая ни на какие «особые причины». Поступать, следуя этому императиву, чрезвычайно больно и сложно, порой опасно для жизни, но ничего не поделать. Потому, да. Он тоже герой. Не хуже любого, кто достоин этого имени...» Текст книги опубликован в авторской редакции.

© Дымовская А., 2016

© Автор, 2016

Содержание

От автора	6
К романам «Невероятная история Вилима Мошкина», «Медбрат Коростоянов», «Абсолютная реальность»	6
Об обложках	8
Часть первая. Делай как мы!	9
Гарсоньерка	9
День святого понедельника	22
О «сущном» и насущном	35
La primavera	45
«Исправленному верить»	55
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Алла Дымовская

Абсолютная реальность

Хотящего судьба ведет – не хотящего тащит.

Луций Анней Сенека

– А все же, с какой целью был создан этот мир? – спросил Кандид.

– Чтобы постоянно бесить нас, – отвечал Мартен.

Вольтер «Кандид»

От автора

К романам «Невероятная история Вилима Мошкина», «Медбрат Коростянов», «Абсолютная реальность»

Этот литературный триптих создавался на протяжении без малого двенадцати лет, с перерывами и заблуждениями, пока не сложилось то, что есть теперь. В одно делимое целое. Три образа, три стороны человеческой натуры, персонажи, их я называю – Герои Нового времени. Из нынешней интеллигенции, которая не погибла, не испарилась под чудовищным давлением хаоса и бескультурия, уцелела и возродилась, и в будущем, я надеюсь, задаст еще правильный вектор нашего развития. Три героя и три пространства – бесконечной личности, бесконечной Вселенной, бесконечной вариативности событий.

Вилим Мошкин – мальчик, юноша, мужчина, обыкновенный человек, обладающий, к несчастью, нечеловеческими внутренними способностями. С которыми он не в состоянии совладать. Ибо основа их любовь и вера в чистоту идеи, ради которой стоит жить. А потому носителя такой идеи ничего не стоит обмануть корыстному подлецу. Однако, именно через трудности и падения кристаллизуется подлинная личность, чем более испытывает она гнет, чем страшнее обстоятельства, которые вынуждена преодолеть, тем вернее будет результат. Результат становления героя из ничем не выдающегося человека. Потому что божественные свойства еще не делают человека богом, они не делают его даже человеком в буквальном смысле слова.

Медбрат Коростянов проходит свою проверку на прочность. Убежденность в своем выборе и незамутненный разум, которым он умеет пользоваться во благо, в отличие от многих прочих людей, способность мыслить в философском измерении все равно не умаляют в нем бойца. Того самого солдата, который должен защищать слабых и сирых. Ради этого он берет в руки автомат, ради этого исполняет долг, который сам себе назначил, потому что бежать дальше уже некуда, и бегство никого не спасет, а значит, надо драться. Но когда твоя война заканчивается, автомат лучше положить. И делать дело. Какое? Такое, чтобы любое оружие брать в руки как можно реже.

Леонтий Гусицин – он сам за себя говорит. «Может, я слабый человек, может, я предам завтра. Но по крайней мере, я знаю это о себе». Так-то. Он ни с чем не борется. Он вообще не умеет это делать. Даже в чрезвычайных обстоятельствах и событиях, в которые и поверить-то невозможно, хотя бы являясь их непосредственным участником. Но иногда бороться не обязательно. Иногда достаточно быть. Тем, что ты есть. Честным журналистом, любящим отцом, хорошим сыном, верным другом. Порой для звания героя хватит и этого. Если ко всем своим поступкам единственным мерилom прилагается та самая, неубиваемая интеллигентная «малыхольность», ее вот уж ничем не прошибешь – есть вещи, которые нельзя, потому что нельзя,

не взирая ни на какие «особые причины». Поступать, следуя этому императиву, чрезвычайно больно и сложно, порой опасно для жизни, но ничего не поделать. Потому, да. Он тоже герой. Не хуже любого, кто достоин этого имени.

Все три романа фантастические, но! Сказка ложь, да в ней намек. Намек на то, а ты бы как поступил, случись тебе? Знаешь ли ты себя? И есть ли у тебя ответ?

Об обложках

Все три в одной цветовой гамме. Первая была красно-черно-белая, с преобладанием красного, как основного фона. Потому для двух других романов трилогии – следующая концепция: черно-красно-белая, бело-черно-красная, с преобладанием в одном случае черного, в другом белого цветов.

По рисунку. Для романа «Невероятная история Вилима Мошкина» на фоне белом черная или красная паутина, заглавие оставшимся цветом, черным или красным. Этот образ в видениях героя основной, именно через него он может трансформировать удачу в человека, которого любит, соответственно уничтожение этой паутины ведет к наказанию – герой Вилим Мошкин таким образом отбирает успех у недостойного человека. Паутина – история самой жизни героя, в которой он запутывается, думая, будто он паук, повелитель мух, но всегда сам оказывается ее пленником, и нет ему исхода.

Для романа «Абсолютная реальность» второй вариант – черный фон с белым или красным мертвым деревом, совершенно лишенным листвы, одни только голые сучья. Соответственно заглавие дается третьим оставшимся цветом, белым или красным, но в иных сочетаниях, чем в предыдущих двух книгах серии. Дерево – основной лейтмотив произведения, образ открывающейся герою абсолютной реальности существования, совершенно невообразимой для человека, настолько фантастической, что поражает, будто электрический разряд. Но и одновременно уничижает. Именно указывая место в ветвях этого дерева, разрушая трон, на который цивилизация сама себя водрузила. Герою от плодов этого дерева выпадает его мертвая, призрачная сторона, лишенная подлинной жизни, но все лучше, чем ничего. Это награда за выбор, его не уничтожает смерть, люди из абсолютной реальности даруют ему возможность жить в мире теней, и герой принимает сомнительный дар, потому что его земной долг еще не исполнен до конца.

Часть первая. Делай как мы!

Гарсоньерка

День не задался с утра. Как пошло, как пошло! Так и вышло. А началось все с прихода Коземаслова. Вот уж был человек! Потрясающий человечие – чтоб так: и фамилия к месту, если брать по частям, и от козла, и от масляного подлизы, всего понемногу. Душно от него становилось. Но вот пришел, вернее обозначить – вперся с утра пораньше в квартиру к Леонтию, и все настроение мерно поехало под откос. Сами посудите, какой нормальный и в своем уме гомо сапиенс решится утверждать, будто бы приход Ваньки Коземаслова – это удачное начало счастливого дня? Сlopал все яйца из холодильника – а их и было всего-то три штуки, – Леонтий чихнуть не успел, как модная, сияющей меди, сковорода оказалась изгаженной подгорелыми яичными хлопьями и сожженным до черноты куском свиного шпика. Лиловая дымная вонь ползла по жилплощади, и уж Леонтию совсем расхотелось притворяться спящим: пришлось вылезать на свет божий из-под дутого зимнего одеяла – трескуче-скользкий сатин, натянутый на пуховую основу. Сколько раз зарекался он! На своей только памяти миллион и сто тысяч раз. Не оставлять квартирных ключей в распределительном щитке! Ну, или хотя бы время от времени запирать входную дверь на ночь. Беда, она в том, что дом его был дорогой, хотя и старый, сталинский, оттого имел привратническую и в ней наемного сидельца-охранника, торговавшего тишиной, и достаточно бдительного, чтобы не пускать, кого попало из граждан сомнительного вида. Впрочем, солидный разбойник и сам бы к Леонтию не полез, не стоило хлопот маскироваться, это было бы все равно что, – по выражению Теккерея, который Уильям, – снимать с огородного пугала его лохмотья, лишний труд. И вовсе не оттого, что Леонтий был уж как-то чрез меру беден, вовсе нет. Мотать он умел, это да! Налево и направо, на всяческую ерунду – на то же одеяло, например. Барахольщик он был, что поделаешь? Деньги не держались у него. Не за одеяло же стараться, пускай и самому недалёковидному грабителю!

– Вот. Называется «sunny side up», – многомерно изрек Коземаслов, словно бы вычертил словами пирамиду в воздухе. – Так и называется. Ей, богу!

– Что называется? – лениво потянулся Леонтий, ему было плевать, но надо же поддержать разговор, не то Ванька обидится и тогда его вообще не спровадить прочь, будет нудить до греческих календ.

– Яичница называется. По-американски, – Коземаслов поднял указательный палец, точно афинский философ, изрекающий неписаную истину.

– По-английски, – уточнил Леонтий, и тут же прикусил язык: ну, нафига он это сказал?

Далее на ухах его повисла тягучей лапшой ненужная ни с какой стороны лекция о различии английских и американских разговорных диалектов. Леонтий выслушал терпеливо и в конце буркнул только:

– Умыться бы мне. Пойду, – и поспешно скрылся в ванной.

Это он так думал. Коземаслов тут же подался следом – ведь идеальный слушатель, как бы не уплыл из рук! забитый зубной пастой рот, минут на пять, если следовать советам стоматологов, а Леонтий им следовал. Зато узнал, что как раз сегодня растреклятый Пашка Дарвалдаев – его кровный враг и смерд ползучий, читает лекцию в МГИМО. И не просто так читает, на добрых, мол, началах, а за реальные и конкретные деньги.

– О фёе, о фё-ёе? – то бишь «о чем?» спросил с набитым пастой ртом Леонтий, не то, чтобы ему стало вдруг смертельно завидно, а так разве – до зарезу обидно. И его самого могли позвать. Но не захотели.

– О разложении государственности российской. В трех вариантах, – с угодливой готовностью подлез Коземаслов, за что и схлопотал плевок белой пены на рукав – а не лезь!

– О Фёе-е-м, о-о Фё-е-ем? – тут уж у Леонтия оба глаза выскочили, не сговариваясь, на переносицу. Пашка Дарвалдаев, блудодей, и на тебе! О государственности российской, да еще в трех вариантах. Он и в одном-то... А-а! что говорить. История этого самого государства в Пашкином случае – едва-едва студиозусу натянули оценку из жалости к старушке маме на трояк. В свое время.

Остальное Леонтий уже слушал плохо, так сильно он расстроился. Деньги нужны были ему, и нужны были страстно. Любимый Ящер не чинен – вторую неделю без колес, – и вдобавок через три дня вносить алименты, Калерия голову оторвет, если не внесет. Как самка богомола ухажеру после совокупления. Гам-гам, и нет помина! С ее габаритами хоть «Челюсти – 666» в 3D снимай. Да не жалко! Дочку он любил, и любил сильно. Правда, сосуществовал с ней лишь косвенно, воскресным папашей – это не меняло дела. Но не вовремя навалилось все и сразу, как всегда. Хотя алименты те могли бы и подождать. Что они там, подохнут с голоду без его вспомоществования?! Капля в море. Ради дисциплины исключительно, лишь бы ему, Леонтию, досадить, оттого Калерия и старается, а всем прочим плевать. Вот Ящер его опять болен, истинно, где засада. Многострадальный семилетка «поршик», купленный единственно форсу ради, не по средствам, к тому же сильно битым в аварии, и после восстановленный кое-как, хворал с удручающей регулярностью. То поносом, то запором, то сердечными припадками – ходовую перебирали знакомые гаражные умельцы уже дважды, а под капотом живого места родного не осталось. Ящер разве на физиономию был хорош – ослепительного серебристого цвета, и фары, будто глазюки у Горыныча, отсюда и пошло его прозвище. С шиком можно подъехать куда угодно, хоть в «Галерею», хоть бы и к клубу «Адмирал», это когда Ящер бывал здоров, но вот, опять занедужил. А за оконным бортом, между прочим, минус пятнадцать, и плюс – непролазная грязь. Это откуда же берется? Размышлял про себя Леонтий, витая вдали от разглагольствований незатыкаемого Коземаслова. При минус пятнадцати-то! Какой же скверной надо поливать мостовые, чтобы так нагадить вокруг! Лучше бы уж снег лежал. Нет, не лучше, – упрекнул себя Леонтий, – зимних ботинок у него сроду не водилось, не стильно это, как он мыслит себе: шлепать по сугробам в фасонных, сияющей кожи, туфлях? А Ящер все на больничном – полетела передняя подвеска, беда бедовая, и дорогостоящая весьма.

– Третий вариант самый безнадежный, (так считает Пашка, конечно – не я), но и самый вероятный из всех. Мы проигрываем войну, нас делят на множество несогласуемых частей, и труба! Родной язык скоро забыт, одна часть населения, скажем, будут китайцы, другая – американцы, а еще турки, поляки и...

– Папуасы, – нелогично и совершенно на автомате продолжил перечисление Леонтий, ничегошеньки он не слушал, разве в пол-уха, слово «папуасы» показалось ему эффектной вставкой.

– Какие еще папуасы!!?? – неподдельно взбеленился Коземаслов. – Я тебе толкую. Есть три варианта...

– Я понял. Понял. У Пашки Дарвалдаева очередной климактерический бред. Вот он и бредёт. Какая в пень трухлявый война? С кем? Слона с китом? Человека-паука с Алешей-поповичем? Не смейся мои жировые отложения! Америка! Китай! Я скорее в папуасов поверю. Кому оно надо? Кому оно надо до такой степени?

– Я не постигаю, – Коземаслов так внушительно произнес свое «я не постигаю», что Леонтий насторожился. Нет ничего хуже упертого пророка или его ретивого последователя, словам которых, э-э, ... не верят на слово. Ну, допустим. – Я не постигаю, – еще раз отчеканил Ванька. (Леонтию остро захотелось вдруг добавить к имени приятеля через тире «дурак», хотя бы и мысленно). – Ты, стало быть, не доверяешь? Ты очень странно себя ведешь в последнее время, не узнать. После твоей поездки в Непал – ты что, заделался буддистом?

– С чего ты взял? – тут уж Леонтий удивился натурально. Кем-кем, но буддистом его никто до сих пор не обзывал. Мудаком, козлом, пофигистом, такое случалось. Но чтоб буддистом? Он и близко в тех краях умом не лежал. И в Непал-то его занесло – телерепортаж для «кругосветки» минут на пятнадцать болтовни вместе с перебивками, Стасик Шаповалов просрочил паспорт, вот и вышла отличная халтура на подмене, еще поди поищи! Одно только... в этой клятой... как там ее... вроде областной столицы... марихуана на каждом шагу, десять баксов пакет, потому не то, что монастыри и храмы, себя самого Леонтий помнил смутно – разве как спускал в гостиничный унитаз остатки того самого пакета, не через российскую таможенную же! А ведь предупреждали знающие люди: от жадности не бери много. Как не бери, когда дешево!

– Вот ведь. Статуэтка у тебя. Сидящий Будда Гаутама. Зачем? Я и спрашиваю. Зачем человеку Будда Гаутама, если сам он не склонился в его веру?

– Херь какая-то. Вон у меня цветы в горшках, и даже одна пальма. Я что, теперь друид, по-твоему? У меня еще на антресолях где-то валяется антикварный бюст Сталина. Чистейший гипс. Поставлю рядом с Гаутамой, да и не Гаутама вовсе – редкость, Будда Майтрейя, блюститель грядущего. Не разбираешься, а говоришь. И не сидящий он, а созерцающий свою внутреннюю суть. Балда.

– Не важно, мелочи-подробности. Лучше я тебе доскажу. О третьем варианте! В общем Дарвалдаев считает...

Леонтию захотелось убить Коземаслова, не менее страстно, чем в кратчайшие сроки раздобыть приемлемое количество дензнаков. От тюрьмы и непомерных расходов на адвокатов – состояние непреднамеренного аффекта, может, дадут условно, – его спас благодетельный приход соседского мальчика Аркаши. Удивительного чудо-ребенка, точнее подростка двенадцати лет.

Спасение явилось к Леонтию отнюдь не в переносном смысле. До убийства, понятно, дело бы не дошло, но до белого каления – определенно, а там и до термоядерного скандального взрыва. Что вышло бы не только вредно для здоровья, но и бесполезно в смысле удаления Коземаслова. Такая уж это была порода. Человеческая. Кто не знает, и кто не сталкивался! Кто не знает и не сталкивался, тому без вопросов повезло. Потому что Ванька Коземаслов, он был из размусольщиков. Леонтий как-то однажды выдумал это понятие, или скорее выстрадал, оно вошло в его тайный словарный обиход, исключительно мысленного приложения, но к Ваньке прилипло тютелька в тютельку, будто бы сам Юдашкин кроил. Размусольщик – это такой человек. Такой человек... который... В общем, если случалось кому иметь дело: такой человек представляет о себе, что он семи пядей во лбу, ну – или умней интернета, на худой конец. Может, оно так и есть: кусками разрозненных энциклопедических знаний напичкан под кадык, и добирает еще – будто тришкин кафтан, на коем разномастные заплатки пошли уже вторым слоем. Размусольщик этим горд. Но просто и молча гордиться ему тяжело, или как то говорится на блатном языке – сильное запаadlo. Вот и начинает он шастать по людям. Знакомым и не очень, которые достаточно терпеливы, дабы не швыряться в него травмоопасными предметами, или не пытаться выкинуть незваного гостя в окно, или – под зад коленом выставить за входную дверь. Заметьте, Ваньки Коземасловы всегда гости незваные, потому – какой же чужак их добровольно позовет к себе, – но очень навязчивые и как-то напрочь лишённые элементарной тактичности. Может, в энциклопедиях об этом полезном свойстве воспитанных личностей ничего и нигде не сказано?

Но главная беда – размусольщик все время говорит. Говорит, говорит и говорит. Нудно, подробно и с особенным садистическим удовольствием, если видит, что тема неприятна или болезненна для слушателя. Знакомо? Ну, еще бы! Блестящая способность, к примеру, в самый разгар финансового кризиса, талдычить днями напролет недавно безработному «топ-воротничку», что худшее по прогнозам еще впереди, равно как и голодная смерть под забором, если

не сменить профориентацию, скажем, в сторону чернорабочего на урановом руднике. А уж если у размусольщика имеется обожаемый кумир или любимый конек, тут невольно пожалеешь, что ручных гранат не бывает в свободной продаже. Коземаслов кумира, слава Аллаху, Будде и Христу, не завел, – не от низости приземленной души, а сам мечтал стать таковым, хоть бы и посмертно, – но вот конек, да еще какой! Тянуло его в советчики спасителям, если и не самой государственности российской, то хотя бы народностей, населяющих оную. Оттого и Пашка Дарвалдаев был его сердцу близок, – правда, тот и сам не дурак был потрепаться на публике, все же Коземаслова терпел, для фона и оттенка, так сказать. Но Леонтий-то за что? В свое время он пробовал высказать в глаза Коземаслову правду-матку как она есть, и даже про размусольщика – толку вышло, ровно в поговорке «палач жертву не разумеет». Ванька нисколько не обиделся, для него происшедший инцидент был – предвзятая критика, он же и принялся тошно-мелочно излагать Леонтию, отчего тот неправ в отношении его особы. Этому гаду не получалось даже одолжить крупную сумму денег, чтобы потом во веки вечные не видать должника. Самое страшное – Коземаслов родился счастливым обладателем независимого дохода, именно что родился, в наследство ему досталась роскошная дача в Завидово, от дедушки-генерала, он сдавал особняк внаем и уж точно не задумывался о хлебе насущном. Напротив, Леонтию порой приходилось занимать у Ваньки кое-какую мелочь на карманные расходы, и, к сожалению, не всегда он возвращал долг вовремя. Оттого выставить Коземаслова пинками ему было особенно стыдливо и неудобственно. Тем более, что вот и теперь! И теперь наличные нужны были Леонтию страстно. Может, опять у Коземаслова? Само собой, тогда Ванька не отвяжется до вечера, послезавтрашнего, в лучшем случае. Не-ет, этого Леонтию было не вынести. Он и так еле терпел. Если бы не приход Аркаши! Почему визит именно соседского мальчика выглядел для Леонтия настоящим и единственным спасением? Элементарно. Размусольщика может заткнуть и удалить прочь на просторы только одно. Одно единственное. Запомните на всякий случай, авось, пригодится. Удалить размусольщика возможно лишь одним пассивно-агрессивным способом, а именно – отнять у него клиентуру. Для этого нужен подходящий третий, которому по силам станет завладеть всеобщим вниманием, и ребенок на эту роль сгодится превосходно. Ну, еще перспективно – использовать домашних животных любимцев, на грани фола – сердитую тещу, все лучше, рано или поздно она по своей воле уберется нафиг, – или на самый маловероятный конец, маститого друга-академика и нобелевского лауреата. Последнее особенно хорошо, размусольщики настоящей ученой публики сторонятся, как чумы, по вполне понятным причинам. Кому охота быть уличенным в неловком воровстве чужих идей? Своих у размусольщиков никогда не бывает, а если и бывают – то это уже зовется иначе: кабинетная профессура, ей шлаться некогда, люди делом заняты. В случае Леонтия вариант тоже был отличным, на полные пять с плюсом. Аркаша не то, чтобы Коземаслова! соседское подрастающее дитя могло забить и подавить одним своим присутствием, пожалуй, что и участников программы «почемуянестивенхокинг», случись те внезапно под рукой. Вдобавок, в отличие от Коземаслова, мальчик Аркаша ничуть не тяготил Леонтия своим наличием в квартире. А по некоторым причинам интимно-личных соображений даже был и желателен. Дело в том, что мама Аркаши..., но об этом щекотливом обстоятельстве несколько позднее. Может быть, и как повезет.

Итак, пришел мальчик Аркаша. Со спасительным визитом из квартиры, аккуратно напротив. Он будто бы возник в двухкомнатной берлоге Леонтия сам собой, бесшумно, словно бы просочился через крышу – эта ненавязчивая способность соседа весьма была приятна. Полноватый, немного рыхлый Аркаша – гладкокожий, голубоглазый блондинчик с обязательно ультрамодной стрижкой текущего сезона, – передвигался, будто бы снежный барс в безвоздушном пространстве, не оставляя звуковых и прочих иных следов своей неустанной деятельности. Ни секунды не пребывая в покое, даже когда свертывался калачиком в просторном плюшевом кресле Леонтия – любимом хозяйском, которое именно занимали нагло все, кому не лень, –

все равно возился, ерзал, дрыгал ногой, в общем, кипел неизрасходованной энергией крепкого, здорового телом ребенка, вынужденного, в силу чрезмерно развитых умственных способностей, нести ученый крест записного грызуна-отличника. Это было редкое сочетание «в здоровом теле здоровый дух», когда оба слагаемых не только не существовали слитно, но в сильном противоречии мешали друг другу и самому мальчику Аркаше жить хотя бы в относительно «гармоническом равновесии». Бедняжку раздирали на части плавательно-боксерские тренировки с одной стороны, с другой – астрономический кружок, репетиторы сразу по трем иностранным языкам: английскому, немецкому и китайскому. Добавьте сюда уроки компьютерного программирования, кои Аркаша и сам мог бы давать уже кому угодно, домучивая очередного приходящего преподавателя из МИФИ, который выдавал из себя все, на что был способен, и оттого советовал маме мальчика обращаться далее хотя бы и к ведущим специалистам фирмы «майкрософт», потому что, лично он иссяк!

Леонтий и Ванька Коземаслов обнаружили чудо-ребенка как раз в пресловутом плюшевом кресле – Аркаша, завалившись на спину, сучил ногами в воздухе, изображая быстро едущий велосипед: многоэтапные гонки Тур-де-Франс были его излюбленным болельщицким зрелищем в режиме «онлайн-интернет», когда хватало дозволенного мамой времени, естественно. И как всегда Аркаша начал беседу отнюдь не с вежливого «здратье» хоть на каком языке – чего церемониться, если с Леонтием они, можно сказать, не расставались, а на Ваньку Коземаслова даже хорошо воспитанному ребенку было плевать, – оно, возможно, и правильно. Начал мальчик Аркаша с обескураживающего вопроса.

– Ленчик! – ну, что поделаться, для всех он был Ленчик, хотя объяснял кратное возрасту вселенной число раз, что звать его Леонтий, а вовсе не Леонид. Но как пошло еще от младшей группы детсада, так и закрепилось в веках для исторических летописей. Ленчик, да Ленчик. Впрочем, чудо-Аркаше было простительно. – Ленчик! – для затравки позвал его ученый младенец еще раз. Если не ответить, то будет твердить до бесконечности: мальчику непременно требовалось словесное подтверждение внимания, иначе он отказывался общаться.

– Я! – по-военному отрапортовал готовность Леонтий. – «Глаукос» слушает «спейсбоя», би-пи-пи!

И тут же получил от Аркаши можно сказать, что бронебойным в лоб:

– Ленчик, а почему все девушки любят за деньги?

Коземаслов хрюкнул за его спиной, будто слюной подавился. Оно не мудрено. Это нужно было знать Аркашу – стремительную внезапность его непредсказуемых вопросов, и не менее парадоксальных комментариев на ответы. Кажется, Ванька уразумел, что его дело на сегодня – хана! И оттого притаился безмолвным наблюдателем за спиной Леонтия. Оставалось надеяться, что скоро он смоеется вон из квартиры.

– Ну-у, не все. Но многие, – попытался смягчить предложенную формулировку Леонтий.

– Это статистическая погрешность. Мы ее не будем принимать во внимание, – отклонил попытку Аркаша.

– Хорошо, не будем, – пришлось согласиться. Да и в действительности, какая разница? Самому Леонтию девушки из области погрешности пока что не попадались. Ну, или он их не замечал за невзрачностью. Не своей, разумеется. – Понимаешь, так уж сложилось исторически..., – тут Леонтий затормозил. Что было делать? Излагать подробно доморощенную теорию отношений полов? Или «запрудить» тему общими местами, вдруг Аркаше надоест. Коземаслов продолжал хмыкать где-то позади, но вступать не решался, неохота, небось, была выглядеть идиотом.

– А надолго сложилось? – чумовым абсолютно интересом перебил его раздумья нетерпеливый вундеркинд.

– Надолго, – выпалил Леонтий, но ведь, правда же? Разве нет? До конца он так и не успел понять, что брякнул.

– Клево! – завопил чудо-Аркаша, и взбрыкнул в воздухе высоко задранными ногами – будто мяч футболил через голову. – Ура! Буду жить без девчонок!

– Это почему? – удивился Леонтий. Логика детских рассуждений не всегда была ему ясна, тем более, если она намного превышала взрослое среднее разумение.

– Потому что я буду бедным! Нарочно! Как Перельман! – от восторга взалел, глотая фразы, просветил его Аркаша.

Житейская позиция чудесного ребенка несколько пришибла Леонтия. Он даже растерялся – впрочем, в присутствии мальчика Аркаши не впервой. Но разве привыкнешь к такому! Ему и представиться не могло в угаре, что кто-то... нарочно... минуточку-минуточку. А что, если пресловутый Перельман рассуждал где-то сродни... новая форма мышления нового же поколения, только гений-математик чуть-чуть опередил в порядке рождения юного «вундера» и иже с ним. Бедность не то, чтобы не порок, но единственная форма спасения. От чего? Да все от того же! От бабья! Живи себе счастливо и свободно! Хочешь, ходи в обносках, хочешь, пахни козлом, а главное – делай только то, что хочешь, или в высшем варианте – к чему ты сам призван. Получалось оригинально-остроумно. Надо будет подать параллель как свою, на приличный фельетон достанет, только бы Ванька не опередил! Но у того сообразительности не хватит, к тому же мотает в уме свою жвачку и зеленеет с досады, что слушать его более некому.

– Здорово! – согласился на всякий пожарный случай Леонтий. А что еще сказать? Перевел невзначай стрелки: – Как обстановка на боевых фронтах?

– А-а-а! – это Аркаша придал воображаемому велосипеду ускорения, одновременно выразив пренебрежение к собственному ответу: – Две «олимпиады»: по «инглишу» и по «физе», – имелись в виду городские олимпиады по английскому и физике, в которых чудо-Аркаша должен был принять участие между прочим наравне с четырнадцатилетними и пятнадцатилетними. И собирался занять первое место – он всегда собирался и всегда занимал, без дураков.

– Тебе, наверное, надо готовиться? – с надеждой подал голос Коземаслов. – В мое время к общественным мероприятиям дети подходили ответственно, – обрадовался, не зная, что его ждет, но Леонтий с ехидным, сладким замиранием ждал, когда Коземаслов плюхнется удало в невидимую лужу-ловушку, – ночи напролет, бывало, сживали накануне за учебниками.

– Зачем? – вполне серьезно спросил его «вундер» и даже ногами дрыгать перестал от обалдения.

– Как это, зачем? – обалдел не меньше своего визави Коземаслов. – Это, по-моему, очевидно.

– По-моему, это чушь, – безапелляционно возразил мальчик Аркаша. – «Олимпиады» послезавтра и в пятницу. Что же я, за два дня поумнею, что ли? Только зря париться. Вообще все это ерунда – плевое дело. Зато понтов много, и «преподы» вместе с «классручкой» заругают, если не поеду. Там же честь школы.

– Ну, да, ну, да, – зачастил обломавшийся в чаяниях Коземаслов, совсем уже не зная, с чем и встать.

– Я у тебя побуду до обеда, гут? – не обращая на него более внимания, попросился к Леонтию чудо-ребенок.

– Так я тогда откланяюсь?? – несколько обиженно прогудел Коземаслов – Леонтий разве кивнул небрежно-согласно. – Может, вечером еще увидимся. Ты, конечно, идешь отмечать к Суесловскому, у него затевают после фуршет?

– Само собой, – Леонтий улыбнулся как можно радужней. Ага, счас! К Суесловскому! Премия Дарвина, третье место! Грязи с его подошв там не будет, не то, что личного присутствия. Хорошенького понемножку.

– Тогда до встречи! И вам, молодой человек, всего наилучшего! – Коземаслов затопал в прихожую.

Аркаша полностью проигнорировал его прощальное пожелание, мальчика тревожило иное:

– Можно? Гут или не гут? – обеспокоено повторил свою нужду «вундер».

– Гут. Сколько влезет, столько и сиди. Только у меня жрать нечего. Поэтому, тебе и впрямь лучше до обеда.

– Клево! – опять бросил ему вместо «спасибо» чудо-ребенок. – Я твой «комп» пока возьму. Отстойное барахло, но другого ведь нет ничего.

– Нету, – согласился миролюбиво Леонтий. Лэптоп его был старенький, вот-вот собирався поменять – хотелось игрушку покруче, но, то не хватало наличных средств, а в кредит себе дороже, то ожидалась новая заоблачная модель, и Леонтий ждал тоже – модели, однако, сменяли друг друга, а у него оставалось прежнее отстойное барахло, по выражению мальчика Аркаши. – Ты уходить будешь, дверь прихлопни, не забудь. А я поеду скоро. По делам.

– В субботу-у! – с некоторым презрением сморщился Аркаша. Не то, чтобы он нуждался в компании Леонтия, тут было скорее высокомерие к тяготящим «взрослым» обязанностям.

Могло показаться на первый взгляд, что мальчик Аркаша прятался в холостяцкой гарсоньерке Леонтия оттого, что бедному чудо-ребенку некуда было деться или в собственном его доме «вундеру» грозили неприятности. Вовсе нет, нисколько. А просто квартира напротив, по мнению Леонтия, представляла собой чистый и беспримесный дурдом, во всяком случае, сам он скорее бы застрелился, после утопился, после спился... ну, в общем, чем так – или там, – жить. У чудо-Аркаши, помимо его самого и весьма интересной мамы, в доме имелись! Внимание, оп! Двое сильно младших братьев – один был орущий годовалый младенец, – при них состояла ворчливая няня-калмычка. Отдельно нервная, пожилая гувернантка – преподавательница младших классов, для среднего из трех детей, помимо – приходящая домработница, тщетно пытавшаяся за пять дней в неделю героически осилить уборку авгиевых конюшен. Плюс иногородний двоюродный кузен хозяйки, временно проживающий в квартире уже десятый год нахлебником в поисках будущего и хорошо оплачиваемой работы, а пока несущий обязанности порученца, сантехника, ремонтника-столяра и вообще где требуется мужская сила. Это, не считая отца семейства, по уши завязшего в делах бизнесмена, да не нашего, не отечественного, но амстердамского разлива, который, правда, по будням беззаветно пропадал в офисе, зато по выходным, по уверениям Аркаши, от него житья не было – бурная любовь к своим отпрыскам у голландского воротилы выражалась в том, что он ни на минуту не оставлял детишек в покое бестолковыми игровыми затеями. Частенько затеи заканчивались порчей имущества, синяками и справедливой руганью мамы детишек, перемежавшейся уверениями няни-калмычки, что «с нея узже фатит!». Не то, чтобы мальчик Аркаша был сильно против домашней обстановки, но ведь надо же отдохнуть мыслящему человеку! От нянь, от родителей, от дядюшек, от ручных хомячков в количестве расплодившихся семи штук, – детям необходимо общение с животными, – от репетиторов, от галдящих пяти домашних кинотеатров системы «филипс», а как же, все свое, родное, голландское! очень патриотично – во всех пяти комнатах, и еще плазменная панель в ванной! С ума спятить – пояснял Аркаша, и шел в гости к одинокому обалдую соседу. Здесь была тишина. Слава тебе, о, создатель кибервселенной Норберт Винер, и твоим апостолам Биллу и Стиву! Здесь можно было спокойно обсудить насущные до зарезу темы – о природе вещей, и о вещах в природе. Здесь поощрялась безалаберность и приветствовался парадокс, здесь можно было отлынивать в удовольствие от строго упорядоченного делового беспорядка его мамы. В общем, у Леонтия чудо-ребенку было клево!

– Интегралы так и не разрешили? – из недр встроенного платяного шкафа прогудел потусторонним филином попутно собиравшийся на randevу Леонтий. Не из вежливости: эпопея с дополнительными, нештатными и не входящими в возрастную группу мальчика Аркаши интегральными исчислениями была для них печальной сказкой о спящей царевне, к которой не подпускают влюбленного богатыря.

– Не-а! Говорят, через год поступишь в «пешку», там и проедай им плешь, а здесь жуй уй!

– Аркадий, ты что? Не выражайся! – проявил воспитательную строгость Леонтий. Еще не хватало, чтобы заманчиво-загадочная мама чудо-ребенка намылила ему холку за то, что учит нецензурным идиомам, гад такой! Хотя, если принять в расчет современный темп внешкольного образования, то неизвестно кто кому даст здесь фору.

– А что я сказал? Правду! В «пешке» тоже – возрастной ценз, да возрастной ценз, заладили! Ваш сын не потянет нагрузку по возрасту. Поубивал бы всех! – имелась в виду престижная, знаменитая на всю Москву школа для математически одаренных детей, но вот беда – принимали туда лишь после полноценного восьмого класса, в то время как бранчливый соседский «вундер» официально числился только в седьмом. – Обидно, что я принцип-то знаю. Но это на элементарном уровне. Мне бы интегралы по Лебегу!

– И опять – не выражайся! Я твоего птичьего языка все равно не понимаю, а звучит куда хуже, чем простые матюки, – Леонтий как раз застегивал прошитый цветной строчкой воротник моднучей полосатой рубашки, одновременно разглядывая себя в зеркале: в этот момент он нравился себе, рубашка была к лицу.

– Это ты так думаешь, потому что у тебя в башке мусом, – Аркаша никогда не говорил «мусор», не оттого, что не выговаривал букву «р» или уважал легендарную советскую милицию, еще как выговаривал, и много чего еще! Просто, как верный поклонник Толкиена, брал на вооружение понравившиеся ему литературные словечки иллюзорного корифея, отсюда были и пресловутый «мусом» и даже «мусомный амбар», в коем, как известно хоббиты хранили завалящие доброхотные подношения. – Плох тот ученый бес, который такому балбесу как ты не сможет втюхать на пальцах, – Аркаша растопырил набитую боксерскую пятерню, – что такое интеграл Лебега.

– И слушать не хочу. Мне бежать пора, – попытался уклониться Леонтий, но не слишком, ему, впрочем, как и всегда в отношения с Аркашей, стало вдруг интересно.

– Ленчик, ты будешь скоро умственный дегенерат, если перестанешь развивать серое вещество. Вот лучше смотри сюда: Лебег – он был молоток, он поменял область определения функции, ну в интегральных расчетах, на область ее значений...

– Все, умолкни. Я уже в трансе, – Леонтий и взаправду испугался одних этих слов.

– Погоди, я же обещал, что на пальцах. Вот, прикинь: затеял ты у себя в интерьере «реставрейшн», и захотел новые «тейблы», «честы» или «вордробы», ну и пошел в маркет. Чего тебе понравилось, покруче, то ты и купил – только не все, потому: у тебя деньги кончились. А тебе еще нужны один «бэд» и шесть «чэев», но не на что. Это оттого вышло, как ты все строил не по результату. Потом ты расставил в своем «флэте», чего купил, и там живешь. Захочешь, сможешь по-другому переставить, из того, что у тебя есть. Теперь наоборот. Ты расставляешь не «дрова», которые уже с «сэйла», но вместо деньги. У тебя на «пластике» десять штук баксов, и ты пишешь – штука на «бэд», две на «честы» и тому подобное. Посчитал, и после только купил. На все хватило, хотя может оно и сплошное уродство – как моя мама говорит. Ты понял? Ты расставлял по «руму» не вещи, а деньги. Это и есть значения предметов, вместо их определения. Ферштейн?

– Что-то больно просто, – позволил себе усомниться Леонтий.

– Само собой, – издевательски хмыкнул над его невежеством чудо-ребенок, и вновь уткнулся носом в «комп». Леонтий на какое-то время перестал его интересоваться.

С одной стороны, неплохо. Можно было дальше собираться спокойно. Тем более что наступал ответственный момент уложения прически на воск и на гель. Проклятые жесткие и слегка вьющиеся волосы никак не желали лежать ровно и гладко без насильственного принуждения. Пес их раздери! С другой стороны. Аркаша задел его больное место. А именно проблему квартирного интерьера.

Потому, что Леонтий был отчасти и мучимый порочной завистью щеголь. Знал это о себе, как о дурной болезни, подцепленной в портовом притоне мимоходом с пьяных глаз. Если бы еще он счастливо завидовал чужим способностям или чужой удаче, как Ванька Коземаслов, для примера. Если бы! Был бы он тогда стремительным карьеристом или, по крайней мере, безжалостно грозным следователем прокуратуры. Всего-то и надо, что поездом есть себя изнутри, растравляя завидку при виде талантов ближнего. Но вот же была засада – у Леонтия и у самого имелся талант, может, не развитый, как положено по науке, и небрежно присыпанный, если не землей, то антресольной или чуланной пылью, но ведь имелся же! Завидовать удаче он вовсе считал занятием для дебилов – напротив, по щенячьи радовался, когда кому-то везло, не обязательно даже знакомому с ним человеку, а просто так, услышал и узнал. Почему? Ха! Это ведь служило сигнальным символом откуда-то сверху – удача на белом свете реально существует, и кто знает, в следующий раз тебя самого не обойдет стороной. Значит, возможно, чтобы свезло, значит, прецеденты есть, значит, жить хорошо! Чего же завидовать, радоваться надо.

Но, господь и святые угодники, идолы языческие и шаманские бубны, что начинало твориться с Леонтием, когда взору его представлял. Или представлял перед его взором... Неважно. Короче, когда в общественном месте – расфуфыренном под барокко ресторане или шальном полуподпольном кабаке, – Леонтий видел особь мужского пола, прифрантившуюся много лучше его самого – последняя коллекция, шик и блеск, – он тут же падал духом об пол. И ничто на этой грешной земле не могло его поднять, в смысле духа, конечно, а не самого Леонтия Гусицына, акулу пера и лэптопа: он же, согласно благозвучному литературно-журнально-телевизионно-репортажному псевдониму, коим подписывал статьи и титры, – Л. Годо (с ударением на последнем слог). Любой шикарно одетый мужик, ну то есть, намного более шикарно, чем Леонтий, напрочь выводил беднягу из состояния приятной самодостаточности. Словно бы хирургическим скальпелем начинали резать сердце, словно бы заставляли выпить уксуса, словно бы у него случался приступ острой диареи и приходилось замирать на месте, мучительно боясь чихнуть. Может, шикарующий стилиста был вовсе не практикующим олигархом, а карточным шулером или альфонсом на выданье, без гроша в кармане и проигравшимся во всех отношениях в прах. Но вот же у того сияли на чуть вывернутых наружу ступнях ботинки из крокодиловой кожи нежно зеленеющего оттенка, по тысяче евро за каждый, а у Леонтия только стандартный джентльменский набор – «хендерсон» или уцененные «гуччи», – кто знает, что они уцененные, кто видел, куплены-то с распродажи в Милане за копейки, но от-то знает, так что все равно. И Леонтий чувствовал себя всякий раз, словно нюхнувший дерьма, приставшего к собственным своим подошвам. Эх, мне бы! Эх, кабы! Он нарочно повышал звенящий досадой голос, словно бы задирал окружающих, словно бы крича – это навонял не я, не я! Никому не было до него дела, никто, за редчайшим исключением, не обнюхивал чужие ботинки или брюки, многие из его приятелей и вовсе не читали этикетки брендов – их зачастую одевали жены, и счастье, если не во что попало. Но Леонтия, знаменитого – ну, не знаменитого, пускай, начинающего приобретать известность, – журналиста-очеркиста Л. Годо-«меткоеперо», зависть забирала, да еще как! Оттого он изводился сам, и налево-направо изводил деньги, только бы не отстать. От чего? От моды, естественно, от чего же еще? Отсюда и безнадежный инвалид, многострадальный Ящер, зачем, на какой фиг, какого... (ух, забористо!) купленный за кровные, едва-едва отчужденные от самого насущно-необходимого, денежки? Чтобы раз в месяц покрасоваться у парадного чужого подъезда. И тут же схватить очередную завидку, потому что на новый-то «порш» не хватает, а уж на «мазерати», что говорить! Да и Ящер-то, не по собственному изобретению купленный – собезьянничал, честно признайся, голубчик родный! Насмотрелся – четыре сезона подряд, пиратски скачанный, (заметьте, без перевода, вот где класс!), сериал «Блудливая Калифорния», овсяная кашка для интеллектуалов-диетиков: где та Калифорния, и где Москва. Вообразил себя... это называлось просто – со свиным рылом в калашный ряд, так-то, а деньги потрачены, и бестолково. По уму, надо было брать в рядо-

вом салоне скучную, нахохлившуюся «тойоту-камри», с выплатами в рассрочку, с гарантией и включенной в стоимость страховкой, как сделал бы всякий нормальный человек, и как советовали наиболее благоразумные из приятелей. Или еще лучше, «форд-фокус», иначе «форд с фокусником», как у Петьки Мученика (последнее было прозвище – он же Гийом Абстрактный), театрального фотографа и друга Леонтия, проживавшего в такой же гарсоньерке, но съемной, не собственной, двумя этажами ниже. Только как же! Как же, ну, скажем, заманчивая мама мальчика Аркаши, когда при встрече у подъезда Леонтий садится или выходит из своего «поршА», так не в грязь фасадом! У прекрасной соседки у-у-у! транспортное средство не хуже, но много лучше, и все время разное, один крутой джип сменяет другой с назойливой регулярностью. Как же перед ней, из какого-то убогого «фокуса», который по карману. К любовным утехам бабы Яги такой позор и такой стыд! Леонтий и такси нарочно подзывал на заказ к далекому крылу родного дома, называя ложный адрес, чтобы не срамиться. По правде говоря, интересовавшей его соседке было от сердца равнодушно, что у него и как, по многим причинам, но Леонтий нипочем не мог счесть хоть одну уважительной.

И вот теперь его квартира. Предмет честной гордости и нарочного хвастовства. Очаровательное неряшество, будто бы в самом Леонтии и в его окружении боролись два святых духа – мужской и женский, и каждый одерживал победы через раз, а после словно бы заикался и спотыкался, пока соперник не упускал свой шанс, и так инь-ян-инь-ян-инь-ян-... не надоело? Но так оно и было. Украшенные шитьем и пышными кистями шелковые чехлы на декоративных подушках, и тут же с кругами, прожженными сковородкой – журнальный лаковый столик-псевдоантиквариат. Щербатый, от рождения не циклеванный паркет – и на нем умопомрачительной ширины кожаный диван с резными деревянными столбиками-боковушами. Модный «персидский» ковер распластан у стены с давно потрескавшейся декоративной штукатуркой – как раз у самой глубокой трещины чугунное бра с разбитым плафоном, вместо одного кое-как прилажен бумажный китайский фонарь, сиротский приют бы постеснялся подобного рукотворного приспособления. Та же ритмичная обстановка на кухне и в крошечной спальне, заповедное место, в которое, как ни странно Леонтию не хотелось допускать ни одну женщину – он и не допускал. Это была его кровать, его собственная, и посторонних здесь не надобно, для «траха» есть диван и даже плюшевое кресло – пусть его, – а дальше лучше уж он потратится на обратную доставку, но в свою кровать, шалишь. Если, конечно, это не будет соседская интересная мама чудо-Аркаши, или «на крайняк», Дженнифер Лопес, или, с натяжкой, Анна Нетребко. Понятно дело, никто из трех вышеперечисленных дам пока в кровать к Леонтию не забредал, и даже в планах не имел. А ремонт нужен был, хотя бы косметический, и мебель, и техника, бытовая и телевизионно-изобразительная, и комплекс «умный дом», и ванна из золота – уже шутил над собой размышлявший и опомнившийся Леонтий. Где средства взять? Источник Иппокрены – это вам не техасская нефтяная скважина, и то – здесь скорее был доход в духе ильф-петровского Герасима, прибыльно шествовавшего кудрявым лесом, чем идейно чистый заработок неподкупного литератора – тогда бы Леонтий точно подош с голоду, какие там «гуччи» с распродажи. Нечего и воображать.

А гарсоньерку свою он любил, как и себя в ней. Так точно любит рак-отшельник захребетную раковину, так точно любит дворовый пес щелястую конуру – единственную положенную ему защиту от непогоды. Недаром ведь сказано – дом человека есть его третий кожный покров. Хотя до конца, положи руку на сердце, или на какое иное значимое место, Леонтий не смог сразу признать и осознать, что квартира эта его. Только его и ничья больше. Доставшаяся ему путем сложных внутрисемейных, скандальных обменов и воинственных дележей, от маминой покойной сестры, тети Кати, а ее дочери – взамен современная «трешка», бизнес класс, но в Сокольниках, – гарсоньерка была подарком языческих небес и перстом капризного фатума. Уже после развода, гол как сокол, вернулся он, опять же гордым соколом, в отчий дом, и вот, спустя какой-то год получил в собственность, после смерти сначала бабушки, а

потом одной из трех дочерей-сестер (не по-чеховски еще с утробы грызшихся меж собой), ее, родимую! Отдельную квартиру. И какую! Вблизи Академического метро, престижный район, и дом сталинский, профессорский, с самого первого заселения – учено-привилегированный. Правда, светлой памяти свекор тети Кати профессором не был, и не собирался никогда, зато служил начальником отдела кадров в институте... э-э-э, никто толком не знал, в каком, что-то там говорилось о теплотехнике, но вы догадываетесь. А уж на кадрах в те годы сидели серьезные люди, квартирами их обделять было бы недальновидно ни для кого, и не обделили, выделили, может, даже вне законной очереди. От хлопотливого свекра перешла в наследство сынку с невесткой. Теперь вот, досталась Леонтию.

Какое-то время его, свежего поселенца, помнится, одолевали по поводу квартиры, странные желания и фантазии. О нет, ничего извращенного, хотя, как посмотреть. Он словно бы примерял гарсоньерку на себя, или, что одно и то же, себя принаравливал к ней. Поначалу, будто бы утверждая выстраданную свободу ото всех на свете и разом, он располагался на ночлег в самых ненормальных местах. В чугунной, тогда еще не сменной на акрил, старой ванной – неудобно вышло жуть. Или на кухонном столе и даже под столом, стелил одеяла – одно на другое, все равно было жестко, зато необыкновенно «вседозволено». Или у батареи под окном – благо лето пылало в разгаре, и он не простудился в обнимку с холодным ребристым металлом. Такая случилась с ним блажь. Но скоро прошла, потому что необыкновенность ощущения исчерпала себя. Он стал господином гарсоньерки, джином своей собственной бутылки, повелителем квадратных метров, вписанных в официальный акт БТИ, исправным плательщиком квартирных жировок – что угодно мог он просрочить, но только не это, – и все равно не верил до конца. В частную собственность, которая дает свободу. В личную и неприкосновенную. Оттого, наверное, и держал парадную дверь постоянно гостеприимно открытой, как бы заклиная подобным образом злого духа судебной конфискации и материального ущерба. Мало ли чего! В смысле – в этой жизни бывает. Теперь вот, священная корова требовала ремонта. Законно. Леонтий вздохнул.

Он уже закончил одеваться, придиричливо смотрелся в зеркало прихожей – перекидное, берущее в полный рост, как объектив дорогого профессионального фотоаппарата. Понравился себе. Рост, конечно, маловат. Но что, рост. Подумаешь, рост. Никогда не стремился в баскетбольную команду, да и ни в какую не стремился, даже где коротышки – благо. В жокеи, например. Больно надо, к тому же лошадей он не любил: огромная скотина, то ли лягнет, то ли укусит. Зато лицо у него, положим, откровенно симпатичное, может, излишне чернявое, как раз покойная бабушка была жгучая, черноокая брюнетка-украинка. Такие, знаете ли, коса толщиной в руку, белое лицо с острыми чертами, маленькая, юркая. В нее. И язык. Хорошо подвешен. Это, пожалуй, самое большое было его достоинство. Не то, чтобы женщины действительно любят ушами – в это Леонтий не верил, но что всякая красавица бережет свое самолюбие пуще бриллиантового кольца – бесспорная истина. Проверял, и доверял проверенному. Потому неохота ей под меткое пулеметное словцо, которое потом как клеймо, не отмоешь. А Леонтий мог, и слыл человеком опасным, читай – загадочным и привлекательным. Так что, рост – ерунда. К тому же взаимностью ему отвечали девицы в основном крупногабаритные, не в смысле толстые – это уж перебор, но просто высокие и широкие. Леонтию того только и надо было, чем мощнее, тем лучше, не потому лишь, дескать, тшедушные коротышки предпочитают больших, грудастых женщин, но посудите сами! Кавалер мальчик с пальчик и с ним дюймовочка, не хватает еще левретки на поводке. Леонтия подобные видения всегда смущали, а смущаться он не любил, не комфортно. Так зачем же провоцировать нарочно? Если столько их в столице, на любой вкус, от ста семидесяти и выше. Вот и Калерия. Думал, повезло... но, но, но. Об этом после как-нибудь.

В зеркале Леонтий скорчил сам себе рожу – Гуинплен смеется, – вывалил язык и хлопнул носом. Чихнул от удовольствия и обувной пыли. Лаковенькие, новенькие, эти пока в сторону.

Совсем не сезон. А вот эти пойдут. Надел жесткие, блестящие туфли оттенка лужи, сверкающей под солнцем на черном асфальте – почти негнушающаяся подошва, зато вид! Как у ответственного менеджера цветущего предприятия, ну, или у муниципального чиновника, курирующего жилищно-коммунальные хозяйства. На плечи – кожаное полупальто, холодное, скрипучее, но широкий норковый воротник, на большее не хватило, и выглядит богато. Ничего, не замерзнет, пешком недалеко, на Ленинском только руку поднять, как тут же и частник. Делов! Крикнул прощальное «пока» мальчику Аркаше, и еще раз про дверь, чтобы захлопнуть не забыл. Леонтий выскочил на лестничную клетку. Лифт ему ждать не хотелось. Известно ведь – суббота прогулочный день, папаши с колясками, работающие мамы по магазинам, гости-кости, пока дождешься на последний этаж, упаришься, даже и в холодном пальто. Леонтий запрыгал вниз по ступенькам широкой, в три пролета, монументальной лестницы, и сразу же, на следующем, восьмом этаже, непостижимым, несчастным образом, столкнулся с фигурой, длинной и тонкой, взявшейся вдруг на его пути, ну совершенно непонятно откуда. И как столкнулся, лоб в лоб! Зубы зазвенели, в глазах – словно бы у телеэкрана отрубилась антенна – один сплошной черный снег, а фигура ойкнула, присела, что-то упало и перекаатилось с железным, зловещим чавканьем.

– Простите, вы простите меня. Что это я, и впрямь, как козел. Горный! – Лепетал ушибленный Леонтий какую-то вежливую бессмыслицу.

– Ничего. Ничего, – женский голос безжизненно-металлический, словно компьютерная баба из метрополитена: «следующая станция Кропоткинская», дважды повторил ему в ответ. Темная худая фигура нагнулась, стала шарить стреловидной рукой в блестящей перчатке по плиточному, нечистому полу.

– Я помогу. Что вы! – Леонтий бросился искать. – Это был ключ?

– Да, конечно. Ключи, много – так же чеканно сказал женский голос, приятный, впрочем, хотя и строгий.

– Вот, возьмите, – Леонтий отыскал первый, и, слава богу. – Они? (Связка в пуд, куда столько? От двух-то замков. Но его, разве, ума?)

– Да, так есть, – фигура еще и кивнула.

Женщина, молодая, гладко причесанная, не мой вкус, но стильная. Определение стукнутой фигуры явилось Леонтию само собой. Еще отметил он странную переливчатую шубу, неужто, шиншилла? Да какая ему-то разница! Бессознательно отметил и все. Хорошо, что мыслей не слышит никто. Тоже мужчина называется. Смотрит не на лица, или там, на ноги и грудь, надо же, шуба! Но такой есть, какой есть, – успокоил себя Леонтий. Не на кошелек ведь зарится, в самом-то деле, чтобы ненароком стянуть!

– Извините еще раз! – Леонтий поторопился на всякий случай быстрее откланяться, ситуация была неловкая.

– Не за что, – спокойно бросила ему фигура, уже во след.

Как это, не за что? Неуместный какой ответ, еще подумалось на ходу Леонтию, но сознание его не задержалось на некстати произнесенной фразе. Только, может, отметил, что незнакомка открывала дверь как раз под квартирой-дурдомом мальчика Аркаши и его интересной мамы. Там же нет никого! Профессор Тер-Геворкян уже пять лет, как отбыл в Америку, читать бесконечные лекции о физической химии, а сдавать Тер-Геворкяны были против, да и нужды им! Неужто, передумали? Или продали? Все может быть. Все может быть в наши дни. Вот это самое помыслил на бегу Леонтий, и мысль свою отставил в сторону, как ненужную. Заметьте, только в надуманных сюжетах второразрядных телепрограмм случается – суровая поступь судьбы, рок вам подает знаки, или предчувствия его не обманули. Не было никаких предчувствий и знаков тоже не было. Не свершилось. Соловей-разбойник не засвистел, папоротник не расцвел, ворона не каркнула, даже черной кошки не попалося навстречу ни одной. А и стаи их выйди, хоть вещий ангел с транспарантом, помощи все равно никакой. Отмерила бы

судьба что-нибудь другое, тоже гадкое или двусмысленное. Леонтий бестрепетно ступал себе мимо. Разве болел у него лоб, и он беспокоился, чтобы не осложнилось дело до сотрясения мозга. Вечером он собирался пить алкоголь.

День святого понедельника

Он очнулся около полудня и сразу не смог сообразить, что выходные, в общем-то, кончились. Воскресенье было еще ничего – а может, и чего, как раз воскресенья-то Леонтий и не помнил. Ну, или помнил смутно, где-то допивал и догонял, компания подобралась мирная, раз он проснулся в собственной кровати, а не в полицейском «обезьяннике». Вот суббота. Та, да. Как с утра не задалось. Так и..., и маму вашу тоже так. Кончилось все плохо. Зачем? Зачем все же он сунулся к Суесловскому? Ведь знал же наперед. Честно отработал вторым ведущим затейником, то бишь толкачом модератором, заказанную презентацию – поперек горла уже, но деньги, деньги, – публика, слава тебе, многотерпеливый Махатма Ганди! попалась не особенно взыскательная, какая-то полутусовка, все впрок. Под им же самым придуманным словечком Леонтий подразумевал следующее. Полутусовка это... Нет, совсем не половина обычной тусовки, с иерархией продольной и поперечной: от сильно известных персонажей к менее известным, от многочисленных сопровождающих до случайно осчастливленных простофиль, вообразивших, что их впускают чуть ли не в рай, от ужасно беспечных скучающих толстосумов, до оторвавших от сердца свои кровные жадно «хавающих» все подряд молодых да ранних предпринимателей, с выражением на лицах «меня прямо сейчас задушит жаба». Плюс интеллектуальная obsлуга – подобные Леонтию обязательные статисты, которые озвучат и отразят, отберут и осветят, каждому овощу положенное по рангу грядки, короче, кому смех, кому рабочий грех. А полутусовка то же самое, в принципе, только с одним кардинальным отличием – знаменитостей, в смысле экранно-журнальных, нет и в помине, но как бы деловой междусобойчик, пресса, конечно, и банкет, но между своими: экспортерами, импортерами, заказчиками, приказчиками – менеждеры-челенджеры, херота-маята, побольше втюхать товару, под водочку и черную икру. С застольем на полутусовках всегда богато, для себя любимых ведь не жаль. Что же презентовали? Леонтий напряг нейронные связи, которые чудом уцелели в мозгу за выходные для нормальных людей дни. Ага! Нефтяное бурильное оборудование! Вот почему был рекой коньяк и весь до последней чекушки ХО, и даже его самого свободно посчитали за банкетного гостя, не копейничали, да и с чего бы? Сидел он где-то на застольной периферии, в углу, рядом с квакающим тритончиком из «связей с общественностью» – ныне даже фирмы, производящие аграрный гумус имеют широкие связи с общественностью, – и наливал, наливал, себе – ему, и опять себе – ему, так, что бедняга под конец деэволюционировал из разряда земноводных в класс рыб и обзавелся жаберными щелями, что у твоей белой акулы, еще бы, сколько было влито! Кажется, тритончик-акула упился до положения «раз плюнуть обоссать с крыши небоскреба», и приставал потом к тощей, «диор-шанелевой» с ног до головы, белесой бабе, много выше его по столу, и та сперва грозилась что уволит, до ора грозилась, а потом... потом он больше не видел ни ее, ни акуло-тритона, видимо, сговорились. Ну и ладно, значит, не зря поил, глядишь, пойдет в гору, парень был вроде не говнюк.

Вот только Леонтию желтая – в смысле, коньячная, – вода ударила в одно место. Не в мочевого пузырь, в голову. Он тоже порешил, что запросто обоссать хоть два небоскреба враз. И в памяти, как назло, всплыл Суесловский, что было уже совсем лишнее. Тут надо пояснить пусть бы и парой слов. А то, Суесловский, Суесловский. Чем плох, кроме, разумеется, фамилии? И кто бы захотел добровольно присвоить такую? Так вот. Суесловский. Собственно, Суесловский, как личность, был не особенно причем. Фигура довольно заурядная, вроде как герой нашего времени, усредненный арифметически. Премию, он, правда, получил, и давал по сему поводу фуршет. Какую премию? Литературную? Да нет же, нет! И не Государственную, куда ему. Ноб... даже не заикайтесь, перекреститесь лучше. Забыли уже, небось, какие бывают премии. Денежные, какие же еще. На рабочем месте человеку за самоотверженный труд полагается иногда премия, в размере оклада или двух, смотря по обстоятельствам. Суесловскому полага-

лась квартальная, не за что, а почему. По липовым послужным документам. За мемуары одного деятеля, который ни разу не смог изложить связно собственную анкетную биографию на четвертушке бумажного листа, но желал опубликовать воспоминания. О том, как... то ли кого-то там бомбил, то ли приказывал бомбить другим, мемуары были военные, чечено-афганские, а заказчик из богатой федеральной организации. Фонда взаимопомощи или союза взаимовырочки, и он, то бишь, заказчик, там председатель. Суесловский, стало быть, вспоминал за него.

Вот эти-то воспоминания, точнее, вознаграждение за них, и поехал обмывать Леонтий. Вам случалось...? Конечно, случалось, если вы человек, а не обезьяна какая-нибудь. Каждому случалось, в этой жизни или в предыдущей – если нет, то все равно в будущей не уберечьтесь, – собственно, случалось ли вам? В сильно пьяном виде двигаться по непрямолинейному пути откуда-то из пункта А в пункт В. Где без вас не то, чтобы совсем жить не могли, но в принципе не против вашего присутствия. И по одной простой причине: чем больше знакомых-свидетелей триумфа, тем лучше, особенно когда свидетель может рассказать другим. Ну, о том, чему он был свидетелем. От Леонтия никто, разумеется, не ждал журнального разворота, посвященного фуршету у Самого Суесловского – да и кто бы ему дал, пусть и не под Суесловского, – но по крайней мере, характерного рассказа, неважно, если обличительно непристойного, лишь бы не умолчал, – о том, что подавали и что наливали, и что ужасного Чебоксаров поведал Федчуку-Казначеевскому, или о том, как Малых-Книжный (это псевдоним) уел на корню зарвавшегося Пурговского. Леонтий бы рассказал, жалко ему, разве? И сам любил передавать сплетни. Но вот не терпел служить для них действующим лицом. А придется, теперь деться некуда. Загвоздка вышла в градусах, хороший коньяк, он как... э-э-э..., как элитный солярий в щадящем режиме. Легкая музыка, приятный ветерок, ароматерапия и богатое воображение. Только когда очнешься – ожог второй степени по всему брэнному телу, включая и кору на пятках. Все почему? Потому что, пропущен момент, когда следовало задействовать мозги и остановиться.

Леонтий ничего полезного задействовать уже не смог – по дороге его развезло в теплом, душном такси, он вслух читал стихотворную ересь собственного изобретения, громко читал, нараспев, и уверял тщедушного старичка-водителя, что это утерянная десятая глава Евгения Онегина, которую сам призрак Пушкина передал ему завещательно во сне.

Перед дверью Суесловского – то есть перед дверью офиса: стальной, непробиваемой с видеокамерой-глазком, – Леонтия мощно стошнило. Офис – четыре комнатухи и приемная – был взят напрокат по случаю фуршета у полужнакомого барыги, и отчего-то располагался в здании Общества слепых, Леонтий запомнил противно «пикающий» на каждом этаже лифт, ему пришлось, как выяснилось, подняться аж на пятый. Вот от этого ухосверлильного пиканья его и прихватило. В бронированную дверную твердь позвонить не успел. Вывернуло. И хоть бы отпустило или, по крайней мере, накатило стыд. Ему бы убраться по-тихому. Куда там! Стоя, с усилием прямо, в луже родной блевотины, он принялся тарабанить в обитое дорогой кожей железо, будто в пионерский барабан, закрытый подушкой. Удары его падали в никуда, но вот вопли «эйвыоглохличтоль?!», те да. Дошли до адресата. Гостям, с любопытством «а чего там такое?» ринувшимся на звук, было на что посмотреть. Вроде, потом стошнило кого-то еще. Однако и здесь миновала лишь половина беды. Потому что Леонтий, не внемля вразумленьям мудрым, кажется, неиссякаемого Коземаслова, все же донес себя до фуршета. Дальше он помнил события в отрывочном хронологическом порядке несвязных кадров. Тарталетки, набитые сырной дрянью с маслиной поверх, ага, балык красной рыбы – Суесл... как там тебя, он же несвежий! – не нравится, не ешь, – сам ...удак! Пиво, пиво, – что? Не пиво, шампанское? А на вкус, как пиво – «Абрау-Дюрсо»? Гадость, дешевка. Ага, счас! Дай обратно сюда бутылку! Сойдет твое «дюрсо». Кстати, а кто такой этот «Д. Юрсо»? А кто такой «Абрау»? Тоже никто не знает? А я вам скажу, открою страшную тайну. Это «Абрам д'Юрсо», вот как правильно. Кто шовинист? Я шовинист? Да я сам еврей! По двоюродной бабушке Поле, по кому же еще?

Откуда знаю? А она в Чернигове жила. Ну и что? Ну и то! А? Ай-яй-а-а! Сволочь, харя необрезанная! Не держите меня трое! Я и сам упаду. Вот только сейчас дам этому гаду раза!

Кончилось все безобразной дракой. После чего Леонтия выгнали. Не то, чтобы с позором. Вывели, вытолкали. Но культурненько. Знакомый, навязчиво интеллигентствующий хмырь по фамилии Васятников и по имени вроде бы Сергей Михайлович (по имени его никто не звал, да и кому оно нужно, все Васятников и Васятников) пошел его проводить. А куда? Второй час ночи. Сюрреалистически пустой, черно-белый проспект Мира, вьюга как назло – снежная пыль закручивается в спирали Бруно, и опадает и тут же взмывает со стоном вновь, и тонкий прерывистый соловьино-разбойный свист из одного беззащитно обнаженного уха в другое. Леонтий помнил, как беззаветно матерился вслух, пресловутый Васятников неотвязно хихикал, за то и получил рассыпчатый снежок за шиворот. Чтоб охолонул – и чего только нашел смешного? В лыжной шапке – прилизанные белесые волосенки зубцами из-под краешка, будто надорванная почтовая марка – здоровье бережет, зараза, у-у-у, не терплю таких! Вроде не обиделся. Зато у Леонтия болел «засвеченный» на фуршете глаз, еще, кажется, шатался нижний правый клык. А-а-а, фигня! И пчелы тоже. Фиг-ня! Определенно не фигня было, что та сволочь и харя, с которой он ухарски-пьяно разодрался на премиальном застолье, оказался – Костя Собакин, единственный порядочный человечек на всем белом свете, и лучший друг. По крайней мере, так думал Леонтий до последнего субботнего вечера. А как оно сложится дальше, неизвестно. Костя довольно отходчив, но и оскорбления в его адрес посланы были тяжелые. С другой стороны, в нетрезвом состоянии – это мягко сказано. С третьей стороны – не умеешь пить, дуй кока-колу, кто же виноват? С Костей Собакиным следовало помириться любой ценой. Но вот захочет ли тот принять обратно Леонтия хоть за какую цену? Леонтий загрустил. Наверное, оттого и опохмелялся все воскресенье напролет, хорошо еще, что этот самый Васятников, прилепившийся невесть зачем к Леонтию в напарники, потерялся где-то по пути в очередную дружелюбную к нетрезвому журналисту компашку. Впрочем, Васятников несколько не любил забубенные загулы – был он какой-то странно ухмылистый, будто бы побочный сын лешего и кикиморы болотной, тем паче «ты меня уважаешь» в его репертуаре не числилось в коронных номерах. Однако Леонтий, как он думал – справедливо, подозревал за Васятниковым совсем иное. Он хорошо помнил наставление своего отца – биологического родного, а не позднее довоспитавшего его добропорядочного отчима, родной-то отец! впрочем, ладно, – так вот. Наставление, данное однажды Леонтию под хорошим «шофэ» гласило! Стоп, стоп, стоп! Это нужно высекать в камне, но хотя бы так: «ТРЕЗВОСТЬ – ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК СТУКАЧА, А ВЫНУЖДЕННАЯ ТРЕЗВОСТЬ – ВТОРОЙ!». Все сказанное подходило Васятникову нельзя более как.

Хотя, если призадуматься, куда вышезаподозренный в неблаговидности белесый хмырь-сопроводитель мог настучать? И главное, о чем? Тех учреждений и того счастливого строя давно уж не было в живых. Но все равно – решил Леонтий, – характер-то остался! Характер прирожденного стукача, не путать, пожалуйста, с блюдолизом, подхалимом, или интриганом-подковерником. Это все разные определения разных же человеческих клише. Стукач, это... Это строгими, логическими понятиями не растолкуешь. Лучше образно аллегорически...

...Итак... Представьте, что вы каменщик – ну, на минуточку-то можно, даже если вы крутой белоручка-олигарх, – представили? И вот – кладете вы эти самые камни или кирпичи на страшной верхотуре, скажем, на готической колокольне. Почему на колокольне и непременно готической? Потому что, гарантированно высоко. Решительно не хотите колокольню? Ладно, на крыше Дома Союзов. Так приятней? Хорошо. Кладете и кладете, до полоумного офигевания – целый божий день класть кирпичи, поневоле, это самое, офигеешь. И тут черт – а он всегда тут, как тут, – толкает вас озорно в бок. А что если, один маленький кирпичик, с колокольни, то бишь, с крыши? Совсем маленький, никто и не узнает, будто случайно. От офигевания и

не такое может иногда произойти с нормальным человеком. В общем, послушались вы черта. Взяли кирпич, маленький или большой, уже не важно, по крайней мере, для того неудачника, который беззаботно в это мгновение ступает себе мимо вниз, ну и туда его! Вот дальше есть несколько вариантов поведения. В ужасе одуматься, что натворил, и деру, деру! Не то, что с крыши, из каменной артели без расчета! Может, кирпич тот ни в кого не попал вовсе, но ужас столь велик, что и к краю подойти никак – проверить, и оставаться невыносимо, только одно – бежать без оглядки, авось, пронесет, никто не догадается, не поймает, не выследит, и как разумное завершение, не посадит. А вот вам другой тип – тут уже: шкодливо глянуть вниз и в зависимости от результата – или деру, деру! Или работать дальше, как ни в чем не бывало, ну с кем глупости не случаются? – это напоследок в самооправдание. Скоро роковой эпизод забывается, однако же, осадок остается – подленький осадочек, рано или поздно на ком-нибудь отыграется, отольется слезой. Ну и несколько промежуточно-колебательных вариантов – от полных штанов, до «ничего, слава богу, он и помиловал» – последний может сопровождаться свечечкой в близлежащей церковке, заменяющей поход к психоаналитику. Но есть еще один финал, заключительный. Вы бросаете свой кирпич и смотрите с крыши – с трезвым расчетом. Как он летит. И если определенно в чью-то невинную голову, вы поступаете следующим образом – кричите обреченной жертве ваших чертей: «Берегись!», или «Смотри вверх!», неважно, главное, вы ее предупреждаете об опасности. Но! Как раз это «но» и есть самое важное. Вы предупреждаете об опасности, когда ее уже нельзя избежать. Ни за что нельзя, будь вы хоть Усейн Болт, хоть русско-американский хоккеист Овечкин с реакцией супермена. Все. Жертва видит опасность и знает, что сейчас умрет, и только на это ее хватает. Зачем, вы спросите, тогда кричать с колокольни, то есть, с крыши? Очень просто. Чтобы не заподозрили в преступлении. Как раз на кричащего никогда не подумают. Наоборот – решат, что вот мужественный человек, чуть глотку себе не надорвал, желая упредить прохожего. Ах, какой молодец! А потом опять черт в ребро и вся проделка с нового отсчета. Но с другими людьми в другой бригаде, потому что снаряд дважды в одну воронку..., ну вы поняли, если дважды случится, могут почуять неладное. Последний типаж и есть законченный образец стукача. Трезвого – ибо голова должна быть свежей на вдохновенной работе, – любителя острых ощущений за счет ближнего своего. Кто может, тот пусть опишет лучше. Но и вам, кто может, приходилось на своей шкуре, наверное: – Я твой друг и я тебя предупреждаю. Хотя мог бы промолчать. Ты поосторожней, да, да! – Ах, какая жалость! Какая жалость! А ведь я как раз его предостерегал. Но разве он внял!

Знакомо? Кому как, и каждому своя часть: одному – слушающего, а другому, прошу пARDону, и говорящего. Это все к чему? Тот, кто слушал, заподозрили вы хоть раз того, кто говорил? А вы, тот, кто говорил? Получили хоть раз по сусалам и по заслугам от того, кто слушал? То-то же! Наверное, Леонтий и его родной биологический, давным-давно опустившийся на современное дно, но все ж таки дальнзоркий отец, были правы – единственное средство распознать стукача, это проверить его на вшивость, то бишь на алкоголь, будто на лакмусовую бумажку. Так вот, хмырь Васятников никогда не напивался до положения риз. Он вообще никогда не напивался. Рюмку нудить – на это он был мастак. Одну, много две за вечер, зато тосты умел произносить предлинные. И уши, что у твоего африканского слона – имел развесистые. Система локаций у Васятникова работала отлично.

Да, что это все о каком-то Васятникове, о Васятникове! Будто других людей нет в Москве и пригородах. Или иных персонажей в моем к вам адресованном повествовании. Сколько угодно. Просто, об этих Васятниковых, как и о Ваньках Коземасловых как начнешь, как начнешь! Не остановишься. Потому что о хорошем человеке мало есть сказать что, на то он и хороший человек. Не то, чтобы скучный, но правильный – а правила мы все и без его примера знаем. Зато вот, отклонения от правил – в сторону зла, естественно, – всегда и бесчисленны, и захватывающи, и поучительны: каждому со своей стороны, кому чтобы остерегаться, а кому – и чтобы применять на практике.

...Потолок расплывчато-тошнотворной каруселью вращался над его головой – Леонтий пытался думать, но думать было тяжело. Неплохо бы встать и пойти. Куда? Хотя бы в ванную. Зачем? Этот резонный вопрос вызвал в голове его болезненный сумбур, будто – босиком по игольной фабрике во время землетрясения. На работу? Есть ли сегодня у него работа? А что сегодня? После воскресенья. После воскресенья всегда идет понедельник. Самый неподъемный день недели – гравитационная нагрузка на психику возрастает обычно до четырех «жэ». А в понедельник у него... в понедельник у него... блин... ага! Эфир на радиостанции «Прошлогодний снег», шутка, конечно, название-то, зато эфир самый настоящий и в придачу прямой, о, ужас! В три пополудни, и до пяти с уходами на рекламу включительно. Еженедельный, авторский – правда, не из самых крутых, да и станция не «Маяк», но для многих реальная везуха, или даже небо в алмазах, вещание на всю область, хотя и не в прайм-тайм, зато гостей, в количестве двух на каждый час, Леонтий мог подбирать самостоятельно – точнее, влиять на выбор редактора, в смысле капризного «хочу-не-хочу».

Сколько уже натикало? Половина двенадцатого. А ехать аж на Белорусскую. Общий привет. Значит, самое позднее, через сорок минут он должен встать. Вообще на ноги, а не бодро проскакать из спальни в ванную комнату. Встать на ноги и в принципе встать – это далеко не одно и то же. Первое, в его положении, включает довольно продолжительное нахождение равновесия, как физического, так и душевного. Вот-вот, сначала хотя бы оторваться от подушки. Когда такой «вертолет» над головой! Аккуратненько поворачиваем шею влево – чтоб мне сдохнуть, сейчас, на месте! Бл... бл... бл...! Может, лучше вправо, осторожно, так... И тут Леонтий увидел, – о, благодарю тебя, неизвестный датский гастарбайтер, разливший это чудо, где? да хоть бы где! – заначенную мудро бутылку «Карлсберга», полную и неоткрытую, прямо на полу, у самого края затертого коврика а-ля некогда козлиная шкура. Главное теперь – билась мучительно его жадная мысль, – дотянуться, потом схватить, потом открыть, потом не расплескать. Иначе – смерть. От разрыва вдребезги разбитого сердца. Леонтий выпростал из-под дутого, в этот миг противно липнущего, одеяла мелко дрожавшую руку. Надежда – она на том конце. Рука-посланница коснулась зазывно зеленовшего горлышка – крепче, крепче! Не стеклянная, небось. Как раз стеклянная, подумалось ему, но как-то несущественно. Но он донес. Он отвернул. Он вдохнул освежающий, отрезвляющий, кисло-томный запах, ах! У Леонтия получилось даже придать себе положительный двигательный импульс и сесть в кровати. Теперь – очень быстро, Жакоб! (Эх, обожал он этот кучерский призыв-повеление из захаровской «Формулы любви», слишком часто в его жизни приходился кстати!) Чтобы успеть глотнуть, прежде... ну, прежде, чем импульс исчерпает себя в попытке. Давай, соберись, еще чуть-чуть, уже, да, да... Вы говорите, секс, секс! Вот где счастье-то!

Полегчало. И сразу Леонтию захотелось попиИать – а жизнь-то налаживается! Если человек способен самостоятельно отлить в уборной, он способен на многое, если не на все. В смысле физических усилий, само собой. Для усилий умственных требуется еще философское размышление на тему. Потом уж можно и умыться, или как выразился про себя чересчур предвзято Леонтий – ополоснуть харю. Попробовать, во всяком случае. Вот только разить от него будет! Тут хоть тюбик ментоловой пасты слопай, все едино. А-а-а, пустяки! Кто у нас нынче гость, то бишь, гости в студии? Хватило сил ткнуть пару раз пальцем по экрану планшета. Один полузащитный футболист – если от себя родит хотя бы полслова, уже счастье. У них же на все про все выстраданное годами заявление: своевременное тренерское чутье и мудрая трансферная политика клуба – если не заталдычат наизусть или по бумажке, то ответы мало различаются в главном, их всего-то два: долгое «а-а-а», или протяжное «э-э-э». С представителем спортивной гордости понятно, что дальше? Один сериальный актер, второплановый середнячок – этот вообще пусть спасибо скажет, что позвали. Да и не звали, небось, услуга за услугу, ты мне я тебе, редакторы-дружечки махнулись телефончиком между собой, чтобы заткнуть дыру – какой-нибудь звездун наобещал и прокатил, вот и свезло. Ой, вторым блоком-то! Народный

учитель, нет... заслуженный учитель... а-а, заслуженный учитель народного танца. Этот-то как сюда попал? И принципиально: это он или она – Офонаренко Св. Ден., сто раз просил, требовал, грозил, чтобы имя хотя бы полностью. Забодался просить, а своего не добился. Вот гадай теперь – Святослав Денисович, или Светлана Денатуратовна какая-нибудь? Пусть будет она, надо всегда рассчитывать на худшее. Баба может заложить, придется расстараться поласковее и поинтимнее. Авось, пронесет. Кто у нас четвертый? Звездинский. Вот те раз, Звездинский! Леонтий и забыл – сам же зазывал, заходи, когда хочешь, на любую тему, вот тебе телефон, только фамилию назови, а я уж велю! Чтоб по первому разряду! И велел. Думал, не зайдет, Звездинский, он гордый. И знаменитый. С другой стороны, прямой эфир, вещание на целую область. Московскую. И еще с пяток соседних, каким достанет. Не хрен собачий. А Звездинский, он хороший. Только злой, вернее сказать, обозленный. Не то, чтобы на жизнь, здесь у него все в порядке, скорее по жизни, такое определение вернее. Цапучий и царапучий, с ним интересно бывало временами. Вот только заслуженный учитель, или учительница, не очень ему пара. Ну, да, разберемся... Офонаренко, Офонаренко, допустим, женского рода. Тогда очень плохо, если «юзается» в первый раз...

Вы только не подумайте чего похабного, Леонтий в мыслях своих имел в виду совсем, совсем другое. Это надо знать специфику – специфику его работы, как и вообще любого ведущего, радио или теле – без разницы. Новички, они ведь... ну, по порядку. Необстрелянные и необученные – это очень скверно на войне, а вот на ток-шоу как карта ляжет. Непредсказуемы, что твой дикий мустанг, впервые заявленный на призовые. Может взять, а может и с ипподрома ускакать – легко, – вывернув своего наездника долой в ближайшую канаву. Если программа пойдет в записи, пустяки, в крайнем случае, отрежут и выбросят, без обид, кардинальное хирургическое вмешательство. С прямым же эфиром шутки шутить не стоит. Да еще если идет онлайн в интернете и с видеоизображением из студии. Случись чего – хана! Всю вину повесят на Леонтия, а коли вдобавок всплывет на поверхность, что пришел нетрезв... У-у-у! про маленьких пушистых зверьков слышали? Вот один из них и будет. Дело все в том, насколько у новичка станет воображения. Вернее сказать, чего он от других ожидает. Именно, именно, в первую очередь, от других. Никто же специально не предупреждает, ни редакторы, ни их рядовые помощники – сплошь затюканные девчушки с канареечной зарплаткой-на-заплатки. Никто специально не предупреждает о том, что твой первый эфир – он может только для тебя большое событие в жизни и праздник. А для прочих всех – довольно обычная работа, пусть любимая и ценимая, но! – обычная. Вот здесь и есть большая разница и главная засада. Потому что, новичок – он ждет. Сам не знает чего, но ждет. Захватывающе неведомого. Есть которые мечтают, их сейчас в студию внесут на руках – куда там, иногда не то, что чаю, воды забывают или попросту не успевают предложить. Есть которые представляют, что вот они вступили в ряды то ли богемы, то ли небожителей, и прямо сию минуту ведущий или другой званный гость бросятся им на шею «сто лет мечтали только о тебе, после эфира – айда в ресторан, мы угощаем, и все знаменитости с тобой за руку» – хорошо, если после эфира кто вспомнит, как тебя звать, и вообще проводит к выходу, потому – ты уже не нужен, а у известных людей свои дела, им не до чужих-посторонних. Есть которые полагают, что он не столько гость, но и как бы годовалый любимый младенец, о котором пекутся заботливые няньки, что вот сейчас ему вопросики – и терпеливо станут ждать, чего эдакого умненького он скажет, а тот, второй приглашенный – он твой лучший друг, и все здесь тебе друзья и поддержка. Хрен там, эфирного времени на круг чистоганом минут сорок, каждому «позарез» надо, за микрофон натурально бывает драка, потому если замолчишь, кто-то другой выгадает – затрут, забудут, здесь каждый сам за себя и за свою рекламу. Вообще лучшие из гостей-новичков, это гении-злыдни, то есть, о себе они точно знают, что гении, чужое одобрение им вовсе не надобно, а злыдни, причем бойцовые злыдни – уже по врожденной природе. Эти могут выплыть, эти, что называется, открытие сезона, редкое, пообтешутся, станут нарасхват, еще злее и заковыристей, но

доносить на ведущего им и в голову не придет, потому – в той голове нет никого кроме себя одного наизамечательнейшего. Соседа уесть, да публично, да чтоб ниже плинтуса, это, пожалуйста, но жаловаться – им просто лень. Чего не скажешь об иных прочих из начинающих, особенно о тех, кто успел догадаться – он облажался, и снова нипочем его трепать языком не позовут, такой может наскандалить, а может тишком наябедничать. Второе – хуже. Особенно если женщина, это отдельный ядовитый разговор. Платочек у поплывшего глаза, хлюп-хлюп, мелко семенящей походочкой шасть-шасть – к шефу в кабинет, она найдет, она прикинется, будто наиважнейшее из дел, и там такого наплетет, что, если бы хоть половину сообразила вылить из себя на эфире, точно бы стала радиозвездой. Что обидели, это она так, попутно, это ерунда, а вот что у вас, страшно сказать – под эгидой самого господина столичного мэра пьяный вдребезги ведущий, это же позор, не мне, что мне? Вам, вам. Народная учительша Офонаренко Св. Ден.

Как дальше сложится? Известно как. А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! На сигналы общестственности еще наши прадеды учили нас оперативно реагировать. А от Ляпкина-Тяпкина! Мама дорогая! Полный букет. И перегаром, и опохмелом, и тем, чем предыдущие два безушешно пытался заглушить. В общем, пьеса «Гроза», автор А. Н. Островский, апофеозная сцена утопления, только жаль, без реки, всухую. Если и не уволят, то принародно в пыли заставят повалиться. Хуже, когда «попадос» на деньги – оштрафуют, ну а что нагрубят и обхамят, это даже не считается. Потому что, Леонтий Гусицын, он же Л. Годо, сам из начинающих. Хотя и не из ранних. Просто-напросто он не звезда, пока еще. А может, никогда и не засияет понастоящему, так и останется известным журналистом в известных кругах. Чуть-чуть на слуху. И то спасибо. Желающих, как говорится, много, а местОв, как известно, мало. Тут закавыка не в локтях и подлостях даже, не всегда самый пронырливый и самый подстилочный побеждает, еще необходима закваска, чтобы взошли дрожжи удачи – толика интуиции, толика стечения обстоятельств и рука всевышнего, которая есть предмет вовсе темный, кто ее знает, почему и на кого она укажет в следующий раз. Деньги и связи, кстати, тоже не помешают. Но вот чтобы ничто из перечисленного не задействовалось в успехе, то это как раз шиш! Не случается, вероятность, как нахождение клада Стеньки Разина на дачном огороде. А значит, если кто думает, что будет в гордой нищете сидеть и ждать своего часа на убогом чердаке, а-ля непризнанный Эмиль Золя или Эдисон, который Томас, – пока оценит вселенная и человеческий род, – тот непременно дождется. Похорон за общественный счет или передачи тела в пользу анатомического отделения, студенты-медики точно оценят халявный трупак. Что значит – хочешь от этой самой вселенной хоть медный грош получить, подымай зад и двигай, признание и слава по своей инициативе к тебе на чердак не заглянут.

Кое-что у Леонтия для будущего процветания имелось в наличии, кое-что и кое-кого можно было напрячься и приобрести, но пока считался он вроде как голливудская старлетка, фильмы серии В, однако, кто знает, вдруг скоро позовут в забойный блокбастер. Потому Леонтию еще многое не могло сойти с рук, но некоторые малые шалости прощались, как бы в кредит, авось окупится в грядущем. Однако пьянство числилось в проступках серьезных, как раз оттого, что медийный шеф был и сам не прочь, еще как, а значит отлично видел соринку в чужом глазу, маскируя таким образом павлинье перо в собственном. Вроде как эсэмэсил окружающим, дескать, я бдю! И если не могу истребить порок в себе самом, то уж, по крайней мере, с подчиненных три шкуры спущу, пусть только посмеют. Я им покажу: дурной пример заразителен! Воду будут пить даже вместо кваса. Хорошо еще, что Леонтий у него раз в неделю по понедельникам. Зато в определенно наиболее несчастливый из семи дней. Найти бы какого-нибудь святого. Святого покровителя, размышлял Леонтий, какого-нибудь Святого Понедельничного Бонифация, или просто Святого Понедельника, наподобие Святого Николая Угодника, завести иконку и молиться по утрам, мол, не дай перескочить с бухлом через воскресенье, дай вовремя затормозить, а я тебе за это – свечечку и лампадку. Только никакого Святого

Понедельника не бывает, и вообще, придется Леонтию рассчитывать на свои силы. Как и всегда. Он судорожно-резко вздохнул. И зря. В голове его моментально лопнуло нечто рогатое и колючее, зверская боль разлетелась клочьями. Ба-а-б-а-х-б-у-м! А, черти поганные! И пиво кончилось. Однако пиво все равно было больше нельзя. Леонтий, охая и причитая, будто обреченное изгнанию привидение, дополз до холодильника. Что он хотел там найти? Хотя бы прохладу. Больше было нечего. За исключением полупустой стеклянной банки кетчупа «Черномор» и надорванного пакетика мясной приправы «Кнутт» – последние съедобные два яйца Ванька Коземаслов сожрал еще в субботу, в ту самую, которая во всем виновата и которая не задалась. На дверце вдобавок коварно притаился пол-литровый пакет обезжиренного молока, такой давней даты выпуска, что страшно было открывать – Леонтий и не пытался. Уже с полгода как. Есть кетчуп с приправой он тоже не стал. Распахнул дверцу морозильной камеры, подышал немного на иней, во всю грудь, до колотья в боку, фу-уф! – нет, не стоит, еще схлопочешь простуду или похлеще, ангину, а голос есть его частное орудие производства. Закрыл. Чихнул. Два раза.

Через сорок минут он все-таки выполз на лестницу – правдами и неправдами, чего это стоило! Кто испытал на себе, тот представил животрепещуще и сейчас же содрогнулся. А кто не в курсе, из меньшинства, дай бог вам, праведные товарищи и господа, никогда не пасть до подобного состояния. Ноги Леонтия слегка дрожали, будто бы к тощим, жилистым икрам его подведен был слабый гальванический ток – как к истязуемой подопытной лягушке, оттого ступал он с некоторым вывихом, неуверенно, и лифт, вот же тварь! Железная, вонючая тварь! Чтoб ему сгореть совсем. Даже не мычал. Ни гу-гу. Ни одна из двух кабинок. Кнопки заалели от нажима, и это все. Тишина, словно дело происходило не в многоквартирном доме, а в каком-нибудь пансионе для благородных девиц во время «мертвого» часа. Ну и что, подумаешь, разгар рабочего понедельника? Не советские времена, дурака валять теперь не зазорно, многие и валяют, но вот же! Леонтий неохотно и с трудом заглянул сквозь крупноячеистую сетку в сырой мрак лифтовой шахты. На этаж ниже, в глухом безмолвии висел черный квадрат кабины – застрял, что ли? В их доме бывало, хотя и редко. Второй лифт стоял совсем далеко, и, судя по скрежещущим звукам, смутно доносившимся с раскатистым эхом, – в нем возилась уборщица Казамат, нечеловеческое имя и наверняка искаженное, но так ее называли в доме все, – провозится с полчаса, Казамат всегда придирчиво боролась с подъездной грязью, зато не любила торопиться. Что же, спасение утопающих, равно как и вечно опаздывающих, есть плод сообразительности их самих, Леонтий тоже принял наилучшее решение – спуститься ровно на три пролета, и попытаться распахнуть с толкача заснувшее чудовище – да просто кто-то застопорил дверь, вот ишак! Вдруг, повезет? Не может не повезти! Потому что, до парадного с вершин девятого на своих двоих – задачка не для слабонервных.

Леонтий угадал. Или вычислил логически. Что было, в принципе несложно: отнюдь не таблицы Брадиса, по памяти задом наперед. Из нескольких объяснений возможного выбирай самое простое. Лифтовая кабина, в самом деле, была застопорена. Дебильный способ, – ругнулся еще забористей Леонтий. Надо же, кто-то взял, да и подпер несчастную дверь силикатным, белым кирпичом, лифт старый, можно сказать, раритетный, здешние обитатели нипочем не хотели менять, даже собирали рублики на реставрацию, мол, у нас настоящий ценный антиквариат, потом попросту пристроили рядом второй грузовой, а этот дедушка остался. Бедняга уже не пыхтел, не жужжал, и не мигал светом, стоял черный и пустой, будто подавившийся дурацкой этой кирпичиной. Леонтию бы нагнуться, отпихнуть камень преткновения, и ехать куда собирался, и далее – идти, куда шел. Но! Ничто человеческое не чуждо и человеку с сильного опохмела. Хотя, казалось бы, отсутствие свободных жизненных сил должно надежно блокировать ненужную активность. Но любопытство пересилило. И надо признать, это было отчаянное любопытство, чтобы перевесить по совокупности: слабость в ногах и голове, горящий рабочий график, тикающий счетчик на ожидавшем такси, мамино воспитание, данное в

виде строгого запрета брать чужое. Правда, брать чужое Леонтий не собирался, он лишь намеревался совершить действие слегка родственное ему. Потому что он увидел – знакомая дверь квартиры Тер-Геворкянов, бронированное старомодное чудовище с двумя грозными сейфовыми замками, тоже стояла полуприкрытая и тоже была подперта точно таким же незатейливым кирпичом, будто в их элитном подъезде бесхозные кирпичи валялись, где ни попадя! Он вовсе не настолько набрался наглости, чтобы трезвонить и беспокоить. Он только одним глазком хотел заглянуть. Только – для того, чтобы предупредить обитателя, или ту самую обительницу в шиншилловой шубке – так делать нехорошо, могут быть неприятности с жилищным товариществом. Только-только. У Леонтия имелись исключительно благие намерения. Которыми, будто зловонную кучу роскошной клумбой, пытался он прикрыть, что же? Все то же. Праздное любопытство, вдруг ожегшее его нестерпимым огнем языческой ночи на Ивана Купалу, любопытство, остро неудержимое внутри, словно бы вулканический гейзер исландской долины, это любопытство властно двинуло Леонтия в приотворенную, совершенно темную пещеру Али-бабы, наверное, временно сданную в наем. Кому? Сорока разбойникам, братьям двенадцати месяцам, трем пороссятам или одной доброй фее? Вот этот вопрос и завлекал Леонтия более всего. Он не имел охоты мешать или приставать с советом, он на единую секунду... только сказать... ему, в самом деле, было некогда. Ну, разве наскоро представиться для грядущего знакомства. Пусть не в его вкусе, однако, стильная дамочка – модницам он всегда симпатизировал.

Именно потому, что за дверью была женщина. Женщина-принцесса, судя по шубе, и принцесса не злая, раз уж не рассердилась на него при столкновении, довольно неприятном, надо признать. Случись на ее месте бритый амбал из зазеленевших отбросов нового общества или даже эстетствующий прощелыга-коммерсант, Леонтий бы нипочем не полез в чужой приоткрытый задверный мир, много – прокричал бы снаружи нелестное «не один тут живешь, свиное рыло!» или «вы бы, господин хороший, не хамили!», в зависимости от оппонента, а там уж – на совести получателя. Но в квартиру Леонтий бы не сунулся, зачем? Что может быть загадочного и необыкновенного в жилище банковского торгаша или рыночно-ларечного пас-тыря? Разве, какое-нибудь необыкновенное бухло. Так не за этим же! Но вот, за дверью была женщина. Откуда он знал? Знал и все. Не оттого только, что уже довелось ему в буквальном значении столкнуться со странной незнакомкой. Кирпичи эти, и полуприкрытая дверь, как-то уж очень по-женски полуприкрытая, – кирпичи, они лежали кое-как, будто бы их дотащили и кинули через силу, чьи-то слабые руки, Леонтий и сам по телосложению был вовсе не Иван Поддубный, чего там – даже не сублильный Джеки Чан, но и он бы уложил для надежности кирпичные подпорки совсем иначе, аккуратней, что ли? Он был словно смышленная, но все-таки обезьяна, стремящаяся в капкан за спелым, заманчивым бананом, когда инстинкт велит – вперед, а зачатки разума только подсказывают способ оптимизаций действий.

Леонтий ступил одной ногой в прихожую, как бы вежливо для начала пытая – не попрут ли сразу. Он находился какое-то мгновение словно бы в двух параллельных реальностях – там и тут, на придверном щетинистом коврике с одной стороны, и на скользком плиточном полу с другой. Он еще мог повернуть назад, он даже мог остаться в этом нелепом положении, прокричать свою претензию, очень вежливо, и повернуть обратно – убраться восвояси, и дело с концом. Это была точка принятия решений, она же точка невозврата, начало трехмерных координат, и нулевой меридиан, от которого можно в два разных полушария. Леонтий колебался какую-то секунду. Спустя которую решение он принял бесповоротно, и сознание его несколько не участвовало в выборе. Потому что, выбирать не пришлось. Все решил за него запах. Да, да, запах. Вы, конечно, подумали прежде всего о божественных ароматах случайно разлитых флаконов «шанелей», «герленов» и «ланкомов», всех разом и вперемешку, или об арабских, индийских, китайских благовониях, чадающих и мерцающих в чашах со свечами, или, совсем прозаически, хотя бы о туалетных елочных освежителях воздуха, в неимо-

верных количествах распысканных повсюду, будто газ «Циклон Б» по лагерной душегубке. Ничего подобного. Такой банальный обонятельный вкус вовсе бы не принудил Леонтия без рассуждений вторгнуться самозванцем в постороннюю ему квартиру. Этот запах был... как вам сказать? Он был противный. И ни с чем не идентифицируемый. Почему-то единственным сравнением, явившимся на ум Леонтию, оказалась свежераскопанная гробница какого-нибудь фараона, пускай Тутанхамона, может быть, исследователь Говард Картер ощутил точно такой же запах, кто знает? Пахло залежавшейся мумией и золотом, да-да, золотом, тяжелым раскаленным в песчаной пустыне металлом, пыльными горшками и щекочущей ноздри отравой, будто бы смертоносным укропом, если бы такой существовал на свете, но именно отравой – усталый мозг его всколыхнулся, сигналил об опасности. Какой? Это и предстояло проверить. Может там, в этой полуприкрытой ловушке случилось нечто страшное? Да что там могло случиться? Бандиты-разбойники что ли, нарочно подперли дверь кирпичом? Нет-нет, это был отличный повод, и Леонтий о том знал. У вас все в порядке? Странно пахнет, знаете ли? Я и подумал, вдруг газ? И нужен помощник. Я как раз вот. Простите великодушно.

Он репетировал про себя. А взглядом скользил. По темным стенам прихожей, в даль, такую же темную, соборную, где-то сбоку чуть светлел, наверное, затуманенный сумраком оконный проем. Не разглядел ничего особенного, квартира Тер-Геворкянов была ему, можно сказать, доброй знакомой: супруга профессора Жанна Ашотовна, милая и страшно разговорчивая дама, дружила во времена «оно» с тетей Катей. Оттого бывая в Москве по хозяйственной необходимости, заглядывала к Леонтию, по старой памяти, а он, в свою очередь, порой отдавал визит. Академическая атмосфера, будто бы часть университетской лекционной аудитории была вырезана, выковыряна со своего исконного места, и перенесена сюда, на жилые метры, разве кое-где диван или платяной шкаф портили общую ученую картину. У Тер-Геворкянов – удивительное дело для сугубо армянской семьи, – не было и в помине такой обыкновенной вещи, как стол обеденный, профессор существовал словно бы на ходу, а Жанна Ашотовна обходилась маленьким сервировочным столиком на колесиках. Как они принимали у себя в гостях многочисленных – целую маршевую роту без преувеличений, – родственников, учеников, и просто друзей-знакомых, оставалось загадкой. И спальни у них не было. Это при пяти-то комнатах! Но не было и все. Будто одна сплошная библиотека, бумажные завалы, похожие на раннехристианские катакомбы, то тут, то там мелькала прислоненная картина, масло или акварель, даренная или профессор собирал живопись сам. И всегда в воздухе висела неистребимая пылевая взвесь – да и когда бы хозяйке прибраться? В столице проездом на день-два, зато всегда успевала забежать к Леонтию, если тот, разумеется, бывал дома, или записку оставляла, что, мол, приходила, и передает привет, никогда никаких просьб ни о чем, видно не решалась доверить племяннику покойной соседки даже самое простое поручение. И правильно. Леонтий бы позабыл все равно. Зато несколько раз пил с Жанной Ашотовной черный, до горечи заваренный чай, и слушал красочные рассказы об имперской Америке – профессорша умела повествовать, говорливость ее была отнюдь не занудного свойства, можно легко засидеться и час и два. Сам Леонтий до Нового Света еще ни разу не долетал, не доплывал и пока в планах поездки не имел, зато почерпнул много полезного на будущее, а вдруг! И вот теперь он опять в квартире, хотя и без приглашения, пробирается вдоль коридорной стены, на ощупь все те же бесконечные стеллажи с книгами. Ему еще подумалось, может ведь он на правах старого приятеля, – ну, хорошо, пусть не приятеля, нос не дорос и возраст не вышел, – на правах знакомого соседского паренька, заглянуть: не нужно ли чего? Он бормотал полувслух свою легенду, получалось:

– Я на минутку, это Леонтий, может, вам говорили, я, собственно, о Жанне Ашотовне, тут пахнет у вас, я бы, если надо чего, вы не стесняйтесь, в случае, очень даже с удовольствием, – бормотание его вряд ли возможно было услышать далее, чем за четверть метра, хоть бы при собачьей слуховой чуткости, да и не рассчитывал, что услышат, скорее для успокоения совести.

Он так и не вышел из пределов коридора. Не успел. Сначала ему показалось. Что сзади него скользят с шуршанием опрокинутые им по неосторожности бумаги, не удивительно же! Он смутился, забормотал громче, уже извинения. А потом. Вот это «потом» он как раз и не мог пересказать – пересказать таким образом, каким говорят о произошедших действиях, типа «я упал» или «мне дали по шее» или даже «на меня наехали» в переносном смысле. Он не то, чтобы не мог вспомнить, что же такое, или кто такой посторонний и преступный, с ним случился. Он вообще не сразу догадался, разве по истечению многих часов, что с ним вообще случилось что-то, вероятно уголовно наказуемое. Он только ощутил боль, страшную, резкую, невыносимо мучительную, от которой и померкло его сознание. В последнее светлое, разумное мгновение у него в голове мелькнуло закономерное подозрение: вот, допился, теперь получай инсульт – а по заслугам. Еще краем зацепила его надежда, что обязательно найдут, совсем в недалгом времени, и так же непременно спасут, хотя бы и при «скорой помощи». Он упал без чувств, успокоенный этой надеждой.

Очнулся Леонтий в своей собственной квартире. Голова трещала, как детская погремушка, ватное тело плохо слушалось руля, а пересохшее горло атаковала мутная, желчная тошнота. Леонтий лежал на роскошном своем диване с резными боковушами, над ним, согнувшись в позу обреченного томлению узника, возвышался на кухонном, стилизованном под избяной стиль, табурете, давний знакомец и сосед, Петька Мученик. Театральный фотограф и неудачливый женолюб.

– Где все? – спросил у соседа Леонтий, и подивился, что голос звучит нормально, неужто, инсульт его прошел без последствий? Может, руки и ноги тоже в порядке? Видел и слышал он хорошо.

Петька встрепенулся, горбоносый профиль, будто флюгер, повернулся в сторону Леонтия.

– А? Чего? – кажется, он задремал, и разбуженный, не сразу начал соображать.

– «Скорая» уже того? Уехала? И что сказали? Кто меня перенес? Она? Нет, она бы не смогла. Нежная такая.

– Бред, достойный Гоголя! – хихикнул вдруг с высоты табурета Мученик. – Видать, приложился от души. У тебя, братец ты мой, сотрясение. Я тебе осведомленно говорю. А что, с какой-то феей был? Сбежала? Вот стерва! – как бы перевернул на себя возможное развитие событий Петька. Для указания на дам и их кавалеров он по преимуществу использовал только лишь два определения – фея, если особь женского рода, а везучего на баб мужчинку, не зависимо от внешности именвал почему-то крысиным прозвищем «пасюк». Где вычитал и от кого выпитал, об источнике затейливой эрудиции Петька Мученик нарочно умалчивал.

– Да я... постой, постой! А где... ты-то откуда взялся? – вдруг взъерошился Леонтий, нехорошее подозрение внезапностью своей осенило его.

– Откуда взялся! Лучше бы спросил, откуда это я тебя взял! Валялся на лестнице, будто в дымину, я так подумал сначала. А после пригляделся, вроде не сильно бухой. Ну да ладно, споткнулся и споткнулся. Я все равно к тебе шел. Подобрал, конечно. Ты, братец мой, вешишь сто и один пуд. Так что, с тебя причитается пол-литра, когда сможешь, само собой. Тогда и разопьем. Только смотри, не водяры какой-нибудь, знаешь, как я тебя тащил! О-о-о, если бы ты знал, братец ты мой, как я тебя тащил! Тысяча и одна ночь! Ты бы фирменного коньяку не пожалел! – Петька мечтательно облизнулся. Выпивать на халяву было его любимым спортивным развлечением. Хоть без закуски, хоть в подворотне, хоть и с люмпен-пролетариями, лишь бы наливали за так. При этом Петька считал себя определенно непьющим, моральным, трезвым человеком.

Он все припомнил, совершенно все припомнил, все плохое, едва только Петька произнес эти самые слова – «тысяча и одна ночь», – и коварные шорохи в неосвещенном коридоре, и рвущую на части боль, и падение в бессознательность, и – роковую, чужую ему пещерную

дверь, за которой стоял запах беды. Она и произошла, только с ним самим... Господи всесвятый!

– Который час? Который теперь ча-а-с?! – возопил от ужаса Леонтий, рванулся с дивана и снова пал, будто нокаутированный боксер-любитель, с жалким ой-ойканьем: сотрясение, наверное, и впрямь имело место.

– Уже без десяти восемь, провалился ты, братец мой! Я тебе скажу! Я уж и пообедать сходил, к себе. А ты все лежишь в отключке, бормочешь что-то, про какой-то газ. Ты мастера вызывал, что ли? Не приходил никто. Кстати, не взыщи, я тебе там принес, бутер с беконом, у самого больше нет ни черта. Могу чаю накачать.

Леонтий слушал расхлябанную речь Мученика и обалдевал. От тоски. Без десяти восемь, значит, эфир прошел без него, если вообще прошел. Он теперь безработный, по понедельникам он теперь отныне безработный, дворовый шаман скажет то же самое и не ошибется. За подобный финт хорошо, если выставят без пособия. А то и репутацию круто могут подмочить, шеф, он такой, каверзный, злопамятный говнюк. И только Леонтий подумал так, как тут же, будто по волхованию и наваждению, раздался звонок. Мобильно-телефонный.

– Алло! – без малейшего намека на энтузиазм выдохнул в трубку свое отчаяние Леонтий.

– Живой! – раздался на том конце облегченный от тягостного сострадания голос. Родной, родимый, того самого злопамятного шефа, Климента Степановича, по прозвищу «Граммфон» – вlepили за одну и ту же заевшую пластинку. На тему дисциплины. Бесконечную. Ну, и бог с ней! – Ты живой! Мы уж тут всякое думали! Авария, гаишники, такси под грузовик, черепно-мозговая! Какой-то козел звонил, дал телефон больницы, там не знают ни хрена, потом сказали – выписали с рентгеном! И все! Как рентген-то?

– Нормально, – это был совершеннейший автопилот системы самосохранения, включился, больше ничего, Леонтий хоть одно догадался сделать: прикинулся веником, – трещины нет, сотрясение, тело болит.

– Ты лежи, лежи, – забеспокоились на проводе. – Мы как услышали, стали собирать – ты скажи, что надо. Деньги, лекарства, продукты, Люба завезет, ты скажи только.

– Ничего не надо. Тут сидят со мной. Хотя... продукты, нет, тоже не надо, тошнит, – здесь Леонтий не солгал.

– А мы тебе апельсинчиков! Любишь апельсинчики? Или мандаринчики, а? Вот и отлично, – обрадовался чему-то своему «Граммфон». Наверное, возможности поставить себе галочку милосердия к ближнему. А может, Леонтий был к нему предвзят, вообще-то шеф был ничего, не законченная сволочь, просто такая пошла теперь жизнь. – Скоро Люба подвезет. С запасом.

– Спасибо, – уже играя роль, прошептал обессилено Леонтий. – Как там эфир?

– Не беспокойся. Попросили Звездинского, он покочевряжился сперва, мол, лишний час теряет, но только узнал о тебе, тут уж без разговоров, и подменил и даже на свое место второго гостя сыскал. Очень оперативненько, правда гость был сомнительный, его же собственный референт, но ведь и ситуация внештатная.

– Ага! – сумел выдать из себя Леонтий, впрочем, уж кто-кто, а Звездинский слыл человеком, без сомнений, благородным, хотя себя сам ни за что не посчитал бы таковым. Полагал джентльменскую репутацию зазорной, отчего-то безопаснее ему казалось слыть за жесткого и местами негодяистого типа. Но не получалось, натура все-таки брала свое. О времена, о нравы! Леонтий фыркнул в телефон.

– В общем, ты лежи. Как отлежишься, тут идея есть. Тебе понравится. Ну, бывай и не хворай, – «Граммфон», не дожидаясь ответных прощаний, повесил трубку.

А Леонтий не мог все поверить своим ушам. Какая больница, кто позвонил и дал телефон? Точно это был не Петька, вон сидит и не заинтересовано пялится в пустое пространство, да и не знал Мученик его планов на сегодняшний день. И куда звонить тоже понятия не имел.

Леонтий от беспомощности схватился за голову. В буквальном значении. Вроде бы как обозначил жестом «Ой-ой-ой! Что же происходит со мной, люди добрые!», однако, голова его не вынесла подобного обращения. Потому что, прямиком он попал на самое больное место. На гематомную шишку. Попросил Петьку посмотреть, что там такое.

– Об угол, предположительно, трёхнулся, братец ты мой. Иначе я бы сказал – тебя замочили, то есть, хотели замочить. Ударом тупого предмета. Топора, например.

– Это не тупой предмет, если ты не обух имел в виду, – но что-то щемящее, сбивчивое уже колыхнулось в его сердечном ритме, нарушило его, пустило вскачь. Петька прав, его и вправду хотели... ну, может и не убить, но что дали по башке, это уж, наверное. Познакомился, здравствуйте! Что же теперь делать? И надо ли вообще делать что-то?

– Чай будешь или как? Тебе полезно, с лимоном. Только лимона нет.

– Сейчас привезут. Люба со студии, – утешил своего заботливого соседа Леонтий. – Ставь чайник. Да не бойся, газ у меня в порядке.

Задним числом пожалел, что так и не спросил у «Граммোфона», кто же такой оказался Офонаренко Св. Ден.? Он это был или она?

О «сущном» и насущном

Он проболел весь следующий день тоже. И следующий за ним. И следующий. Сотрясение оказалось нешуточным. Не слишком скверным, но все же, без врачебной помощи не обошлось. Сердобольная Люба, та самая, которой суждено было привезти Леонтию апельсины-мандарины, сунула ему наскоро начертанный на клочке бумаги телефонный номер – отличный специалист, невропатолог, то что, нужно, не стесняйся, скажи, от Ефима Лазаревича – кто такой? шут его знает, но помогает в общении – тогда приедет на дом, расчет сто евро, можно российскими деньгами. Он и позвонил, промаявшись ночь с Петькой и свирепой головной болью – от Мученика вышло мало пользы, не потому, что оказался бестолков, а просто Петька был не врач, ничем кардинальным помочь не мог, даже медицинским утешением – его словам «наверное, ничего серьезного» Леонтий не сумел придать веры. Разве сосед менял холодную мокрую тряпку на его страждущем лбу, или пытался заставить пить болеутоляющее, но тут Леонтий отказывался наотрез, как бы хуже не стало, и заодно не смазать клиническую картину – подслушал фразу в кино. Однако случилось, что был совершенно прав: о том ему поведал хваленый невропатолог, сто евро взял, плюс за такси в оба конца на Масловку, и прописал какой-то «энцефалол» дважды в день по две таблетки. Петька сбегал за лекарством в аптеку. А еще отличный специалист прижег шишку йодом – та «кровила» время от времени, – и велел лежать, хотя бы денька три-четыре, спиртного в рот ни-ни, не садиться за руль и, ни боже мой! на карусели не кататься! С чего это светило мозговой терапии взяло, что тридцатипятилетний мужик захочет крутиться зимой на каруселях, было совершенно неясно. Но Леонтий решил – сие предупреждение из разряда обязательных дегенеративных, типа «не сушите домашних животных в микроволновой печи» или «выходя из самолета, убедитесь в наличии трапа», в общем, что-то вроде того.

Зато у него появилось свободное время. Законно удостоверенное, даже оправданное медицинской справкой, свободное время. Нафиг оно было ему нужно! Спрашивается. Леонтию необходимы были деньги, вот что реально требовалось, и, следовательно, возможность их заработать, а он валялся. И ничего не мог с собой поделаться – он был рад. Лежать, болеть, отвечать на сочувствия, спроваживать «напряжных» посетителей и задерживать у своего «ложа страждущего» тех, кто был ему приятен. Петька Мученик выступал за распорядителя и привратника, когда не занимался собственными заработками, понятное дело. Самое хлопотное и затратное для здоровья было – сплавить как-нибудь вежливо, но решительно необратимо, маму – Ариадну Юрьевну Левашову, по первому мужу Гусицыну. Леонтий вовсе не мог сказать о себе – дескать, единственный ребенок в семье, – но сын, сыночек, сыночка, да, такой он был у мамы один. Младшая вредоносная его сестренка Лиза пятый год как якобы проходила стажировку в Германии, теперь в Берлине, и насколько Леонтий о ней понимал – назад в Россию ни в коем случае не собиралась. Да и стажировка та! Четвертый университет сменила, просто ей нравилась жизнь в Европе, сестра даже денег никогда не просила, ни в долг, ни в дар, сама зарабатывала, числиться в стажерах ей было выгодно – тем самым обеспечивалась въездная учебная виза, но домой ни-ни. Лучше в судомойки чем... чем «что», она не уточняла, но Леонтий и сам понимал – чем тут у вас. Общался с ней исключительно по скайпу, «ото и тильки», как говорят наши братья-украинцы. Однако мама – мама это была проблема. Хорошо еще, саранчой не успела напустить на него орду врачей – визитка «Семен Абрамович Гингольд, нейрофизиолог, кандидат медицинских наук (который от неведомого Ефима Лазаревича)», в золотом обрамлении с вензелем, произвела на нее умиротворяющее впечатление, мама доверяла исключительно еврейской прослойке отечественной медицины. Иное дело, бедная мама, низенькая, пухленькая, рыхлая, словно недопеченная пышка, пожилая женщина, ни секунды не могла усидеть спокойно на одном месте именно в его квартире. Чтобы ей попить чаю с

булкой, если то и другое имелось в наличии, или хотя бы посмотреть телевизионный сериал? Куда там! Мыть, тереть, стирать, перетрашивать и перекладывать, без устали и без особенно заметного результата было ее любимым занятием. А Леонтию как раз требовался покой. Еле-еле удалось втолковать, что свежий воздух больному сыночку, безусловно, необходим, но как раз сейчас, в лютый снегопад не надо доводить все окна до стерильности, и вообще – мама, ничего не надо! Пожалуйста! С ним в целом страшного не произошло, завтра уже встанет, в выходные он сам придет навестить, и маленькую Леночку привезет, честное пионерское, а как же! – с Калерией все в порядке, мама, иди бога ради, ты волнуешься, а я от тебя – еще больше. Я совсем разболеюсь.... И я тебя тоже... очень...

В один из дней его и вправду навестила Калерия, он не солгал маме – сама, без дочери, без Леночки, видимо, хотела прочесть назидательную лекцию и сделать внушение. Но ничего такого у нее не получилось – бывший муж имел без притворства жалкий вид и жалобный, срывающийся голос, да и шишка на его обмотанной мокрой тряпицей голове была натуральной, и чем-то великолепно зловещей. Калерия даже рукой на него замахала: какие там алименты, о чем речь, лежи, чучело мое! Потом, потом. Настырно заставила проглотить две таблетки пустыряника «для поддержания сердечной мышцы», после чего всплакнула, просто так, из сочувствия. Леонтий еще подумал, что, если бы вот, она чаще плакала, пусть досадно и по любому поводу, пусть по крокодилему притворно, неважно, вместо того, чтобы по тому же любому поводу справедливо (что хуже всего) гроыхать громами, он бы нипочем и никогда бы с Калерией не развелся, он бы терпел. Подумаешь, слезы. Ему вспомнилась любимая при-сказка двоюродной бабушки Поли, той самой, из Чернигова – ничего, ничего, деточка, больше поплачешь, меньше пописаешь. Женские слезы он переносил легко, и вообще считал их признаком милой беспомощности, что особенно ему казалось симпатичным в женщинах крупных, в себе решительных и хватких. Только он знал наперед: сейчас Калерия поплачет, поплачет, а спустя минуту-другую обязательно начнет греметь, пилить, сверлить и выполнять на его счет всякую иную столярную работу. Потому разведенную свою жену Леонтий спровадил с глаз долой заведомо раньше, чем кончились ее сочувственные слезы, удачно притворившись внезапно уснувшим страдальцем. Ну, спи, спи, все-таки... Что «все-таки» она не договорила, но Леонтий знал и так, он продолжил за нее – «все-таки ты мне не чужой».

Он лежал, он болел, он в минуты просветления строил планы на грядущее, он только не делал и не собирался делать одной единственной, самой логичной, самой вроде бы насущной вещи в его положении. А именно. Он не собирался звонить в полицию. Как и вообще в любые правоохранительные органы. Хотя на его месте всякий здравомыслящий человек, возможно, что связался бы даже с ФСБ. Насчет шпионажа и драк, а также несанкционированной деятельности на территории страны нелегальных химических лабораторий. В конце концов, какого разэтакого обдолбанного кучера здесь происходит! В родной бывшей стране Советов! Но Леонтий никуда звонить не стал. Он вообще не обмолвился ни словом об истинной подоплеке происшедшего с ним, и с Петькой Мучеником тоже ни ползвуха. И когда пришел Костя Собакин, словно бы меж ними скандального не было, словно бы с чистого белого листа, Леонтий обрадовался бы, до краев и с подлинным чистосердечием, если бы его не тошнило так упорно и страшно, но и ему, самому доверенному другу не сказал ничего. Костя не ждал от него ни радости, ни откровений, ни тем более извинения, Костя принес последние серии «Теории большого взрыва», две банки ананасового сока, сухую колбасу в нарезку, финские сухарики-хлебцы, любимых маринованных огурцов и что-то еще, мало портящееся и вкусно-съедобное. Костя оказался действительно желанный полезный посетитель, в отличие от многих прочих, хотя к чести того же Коземаслова надо признать: Ванька притащил какого-то необыкновенного устройства надувной матрац и не ушел, пока не проследил, чтобы Мученик надул его, как следует, и подложил под «беспомощное тело друга», по выражению самого Коземаслова. Кстати, матрац достался неплохой, удобно текущий, боли в голове как будто бы даже

уменьшились. А у Леонтия многосторонняя забота о его особе вызвала приступ сентиментальной чувствительности – казалось, все проблемы разрешились сами собой и с Костей Собакиным, и с Калерией, и с «Граммфоном», и Ванька Коземаслов вышел на поверку много лучше, чем Леонтий позволял себе думать о нем. И мир прекрасен и многолик, и люди в нем добры и милосердны к ближнему, он чуть было тоже не пустил слезу, да вот только вовремя вспомнил. Что именно послужило причиной его болезни и что как раз милосердные люди, или, по меньшей мере, один из них, приложил его от души по черепушке, да так, что, наверное, едва не угробил. Вот именно поэтому Леонтий не звонил в полицию, и в ФСБ не звонил тоже. Все же его не убили, не прибили до смерти, не добились и не доконали, а попросту выбросили на лестницу, хотя могли... Но, если и не могли, зачем провоцировать. Можно сказать, с его пробитой головой все закончилось, вопрос, что называется, исчерпан. Так зачем же его поднимать? Чтобы неведомая карающая рука завершила свою работу? Пиши потом из городского морга в Страсбургский суд о правах гражданина и человека! Лучше проявить благоразумие. Здесь вам Россия, здесь вам не тут. В общем, не Пикадилли-стрит. Полицейский, он ведь тоже русский человек, его еще заинтересовать надо. А так – ну приедет рядовой опер или приобретет унылый участковый, ну, поколотится он в закрытую дверь, ну скажет, сам дурак, с лестницы упал, еще обматерит. Конечно, если заинтересовать, то может, постучит в бронированные ворота Тер-Геворкянов раза два и не обматерит после, но даст дружеский совет – парень, плюнь ты на это дело, все же хорошо закончилось в итоге, не лезь больше, мало ли что, сам знаешь. И правильно скажет. Он не виноват – просто такая теперь жизнь. Поэтому Леонтий никуда и не звонил. Он, честно говоря, опасался подсознательно, как бы ему не позвонили. В телефон или в дверь. С предупреждением, что, мол, еще раз! Сунешься. Тогда извини, пеняй на себя. Он лежал и болел себе тихо.

Он, можно сказать, болел благодушно, хотя в редкие мгновения вносил поправку в уме – малодушно, малодушно, братец ты мой, как выразился бы Петька Мученик. Ну и ладно, пускай конь педальный заест проблему. Так проще. А вдруг – в самом деле, нелепость какая, случайная и смехотворная. Допустим, э-э-э..., да что угодно. Помешал свиданию любовной парочки, лифт, как средство отступления, был заготовлен для спешного бегства. А тут Леонтий, подумали на него, что муж, что вернулся из командировки, «избитый» сюжет, Леонтию тоже досталось по сценарию, вроде как пьянчужке актеру, забредшему ошибочно не на свою съемочную площадку. Гримировался на роль «мыльного» коммунальщика-подхалима в бытовухе, а угодил в бронированные псы-рыцари на Чудское озеро. А что с «прощения просим» после не пришли, из Тер-Геворкяновской квартирки, так может стыд, он тоже, глаза ест. Сидит – чего не бывает, – шиншилловая дева у себя в теремочке и горько сокрушается, что ухайдокала неизвестного богатыря. И спросить о здоровье совестно, может даже, страшновато, и не спросить – свинство поросячее. Люди разные, кто знает. Насочинял Леонтий себе. Хотя непримиримая его верная интуиция, частенько замещавшая пылкое сердце и совесть обыкновенную, с коварным злорадством сигналила изнутри – не было! Не было нелепости, не было случайности, а было намеренное покушение, которое – завершилось оно несколько иначе, к примеру, бездыханным телом, – все одно бы рыданий у модной красотки не исторгло. Ну, зато что ни делается, все к лучшему – совсем уж с каким-то подленьким смирением уверял себя Леонтий – уверял и корил одновременно, он не лучше и не хуже других, он слабый человек, он даже Ваньку Коземаслова не может выгнать в шею. А тут криминальная история. Раз ты из малых сих – сиди и не чирикай. Не то, больно будет. Это Леонтий понимал. Но не выдержал, подсластил пилюлю. Совпадение-то необыкновенное, как все разом утряслось! И на радио, и в личной жизни. Об алиментах, к примеру, можно не беспокоиться, долгое время, и Костя Собакин опять ему друг, и «Граммфон» обещал нечто заманчиво приятное, ах, да! Из больницы-то кто сообщил? И не было больницы, не было! Чертовщина, дедовщина и барщина в одном флаконе! Невероятная смесь. Но была забота о нем. И забота какая-то странная, будто

бы протянулась инопланетная рука с Луны, или трезубец Нептуна из кухонного водопровода. Взмах, оп-ля! По щучьему велению. Взять бы ту щуку за жабры – с внезапно вспыхнувшей злостью подумал Леонтий. Но взял он не щуку – попросил у Петьки дать ему в кровать лэптоп, три дня впустую валяться – этак кондрашка точно хватит. Он вовсе не намерен работать. Хотя на нем висит, и сроки выходят – Гена-«Валет» обещал, что все хозяйство ему оборвет, если заказанной статьи не будет на следующей неделе. Но сейчас только почта, только чуть-чуть, Леонтий ждал важное письмо. Петька многозначительно покашлял, предостерегая, но дал просимое – эх, братец ты мой: только и сказал. Ему пора было бежать на какой-то прибыльный показ, пора было становиться Гийомом Абстрактным, может и не лучшим фотомастером Москвы, но очень неплохим, а уж по обозначаемым Петькой ценам – просто нарасхват, к тому же красивых женщин он частенько снимал задаром – и напрасно, все равно выходило именно задаром. Он был несчастливый ловелас.

Ужели Леонтий не предостерегал его великое множество раз! Петька, брось ты умные разговоры, смени антураж. Эрудиция сейчас не ходкий товар. Не семидесятые годы. Когда хриплые и патлатые ученые умницы могли получить любую бабу, стоило только глазом мигнуть. И получали, разве что ноги им поклонницы не мыли, а так если припечатали тебе клеймо «старик, ты гений» или «большой он у нас талантище», все! Отбою не станет. Хоть ты водку жри с утра до ночи, хоть при посредстве утюга обыкновенного лупцуй смертным боем, все равно. Немало было женщин и девушек, желавших положить свое нагое тело и чистую душу на эфемерный алтарь чужого дарования. Задаром, безвозмездно совершенно, лишь бы позволили на закате жизни поплакать у могилки и с чувством повспоминать, как бил и как чудесил, и что замечательней его, поганца-гения, никого на свете не было, нет и не будет. Те времена случились однажды, и прошли. Прошли безвозвратно. Но Петька Мученик это отказывался понимать. Оттого и прозвище его сложилось. Всякий раз, после закономерно неудачного ухаживания, он вздыхал перед разношерстными приятелями – замаялся я с ними совсем, жить-то когда? Одна мука, братцы мои. А вздыхал и жалобился он часто, отсюда пошло: Петька Мученик. Так прилипло, не отодрать. Хотя чудные свои фотоработы он подписывал «Гийом Абстрактный» – смысл витиеватого псевдонима едва кто постигал, но звучало красиво. В этом был весь Петька – на первый взгляд малопонятный и несъедобный для современных ему женских, хищных желудков. Его и не ели. Не пробовали даже на вкус, словно заведомо ядовитое растение.

Но что примечательно, Петька отличался расторопной благодарностью – редкое качество по любым временам. Нынешняя квартира его – видал бы он виды, если бы не Леонтий, – так чуть ли полы теперь не мыл в гарсоньерке, через день навевывался, не надо ли чего, вот и в роковой час по совпадению счастливо заглянул, спаситель. Хотя, что такого особенного Леонтий сделал для него? Пара пустяков. Стукнул по дружбе, что, мол, сдается у знакомых без посредников порядочному холостому мужчине, и перед соседом Иосифом Карловичем рекомендовал, дескать, ручается, приятель его старой закалки, девиц водить не будет, вертеп тоже не устроит. Какие там девицы – через полчаса сбегала самая терпеливая, если вообще удавалось изредка заманить. А вертепа не было, как обещано – Петька устроил домашнюю студию, с зонтиками-отражателями и дорогой «кодаковской» фотопечатью, аккуратненько и чистенько, мусор выносил сам аж на улицу, не доверяя мусоропроводу, отчего-то он опасался, что забракованные им, постановочные снимки и портреты могут попасть в руки недоброжелателей, рвал на мелкие кусочки и тащил в завязанном черном пластиковом мешке во двор, будто бы избавлялся от расчлененного трупа. У каждого свои причуды, Леонтий частенько подшучивал над ним, но Петька возражал – ничего он не понимает. Будто бы Петька в жизни понимал много!

На взгляд Леонтия как раз Мученик не понимал только одного, зато главного. Причину его стойкого неуспеха у дам – хотя каких еще дам! Дам уж давно переименовали, их не существовало в «рэсэфэсэре», да и самого РСФСР не было в помине – Российская Федерация,

коротко и внятно. Место дам заняли телки, мочалки и чувихи, или еще похуже – это уже не для цензуры. Вот у них-то Мученик при его политике охмурения никак успеха иметь не мог. Дело было не столько даже в произносимом прямо тексте его речей, сколько в смысловом подтексте, который за ним скрывался. Это как – написали вы слово «корова», а картинка к нему может прилагаться двоякая: жвачное животное или толстая тетка, то и другое семантически верно. Вот и с Петькой выходило примерно так. Сами по себе умные разговоры, может, никого бы не напугали, если бы... Если бы по сложившемуся стереотипу за умными скучными разговорами не стояли – далее по списку: житейская непрактичность, отсутствие денежных средств и перспектив, слабое здоровье, неумение «оттянуться», равнодушие к внешнему виду, ладно бы своему, но и своей подруги (это уж совсем ой-ой-ой). Ну и так далее, в том же духе. Ничто или почти ничто из вышеперечисленного к разряду Петькиных грехов не относилось, он бывал при деньгах и при хороших, практичность его если не была выдающейся, то вполне пригодной для жизни в мегаполисе, здоровье тоже имел ломовое, несмотря на то, что Мученик. По поводу «оттянуться» лучше вообще было помолчать, тут только наливай-успевай. Даже внешний вид Петька – худющий как загулявший мартовский кот, костистый и лохматый, похожий на недоедающего крестьянина с картин Прянишникова, – порой придавал себе вполне гламурный, а по обычным дням облачался в небрежный «кэжуал» для среднего достатка. Но едва стоило ему завести с понравившейся женской особью разговор на тему разности ашкеназского и сефардского произношений в древнееврейском языке – Мученик свободно читал Ветхий Завет, так сказать, с листа в оригинале, – тут его настигал полный и безусловный облом. Петька жалился и сетовал, что вот, мол, общее оболванивание, беспросветная тупость и травоядность, никакого родства двух душ, сплошной ужас и кошмар гибнущего в идиократии мира. А ничего подобного не было. Может, многим его потенциальным пассиям показалось бы интересным и о древнееврейском языке, и о том, как финикийский алфавит повлиял на греческое письмо, тоже ведь живые люди – не век же им думать о тряпках не хуже, чем у этой дуры Маргоши, или о тачке покруче, чем у Горгоны Васильевны. Но всему свое место и время. Человека надо узнать получше и поближе, чтобы понять – он не только о развалинах Иерусалимского храма, однако способен вполне об ипотеке под хороший процент, и не впустую трепаться, но выбить и получить. А Петька этого времени не давал, сразу пускался галопом через буерак, он даже не говорил – вещал. На бедняжек словно бы обрушивался пыльный шквал библиотечных, пустынных ветров безнадеги и безденежья – того, от чего современные дамы, ставшие против воли телками и бабами, старались держаться по возможности дальше. Они считали его неутомимую просвещенность верным признаком бедолаги-неудачника, вечного лузера, обиженного на белый свет, а такой – кому он нужен! Разве старой деве-учительше: затрапезной географии или хорового пения в дворовой школе, пережившей девяностые в ледяном голодном коконе, но вот беда – у последних сам Мученик никогда не пытался искать расположения. Он тоже был разборчив и падок на шик, хоть бы дешевый, и красоту, пусть бы поддельную. Как все нормальные мужики. Да вот незадача – всё стрелял мимо. Любимой его поговоркой было: шикарные женщины как дорогие автомобили, с ними больше трахаешься, чем на них ездешь. Каждый из его приятелей трактовал суть изречения по-своему. В зависимости от везения.

Петька ушел на цыпочках, неслышно прикрыв за собой входную дверь, а Леонтий в своей гарсоньерке впервые пожалел: надо было приучить всех знакомых визитеров хотя бы спускаться с «собачки» английский замок! Эх, задним числом умом крепок! Ему отчего-то сделалось не по себе от мысли, что дверь его, фанерно-картонная, хоть и оббитая чудной тисненой, искусственной кожей, все равно, что нараспашку, натурально может зайти любой, кто хочет. Если раньше это обстоятельство было предметом удовлетворенной гордости, то ныне все в корне изменилось. Боязно стало Леонтию за открытой дверью. Вот бы бронированную на семь замков! И противопехотную мину под половику! Он отложил в сторону лэптоп, отвернул нагретое одеяло, и, шаркая босыми, стынувшими ногами, словно древний старик, пораженный болезнью

Паркинсона, заковылял в прихожую. Его била короткая дрожь, точно в его теле разрывались тысячи тоненьких, мелких ниточек – с нежным стоном, трень, трень! – Леонтий решил, это, вероятно, от холода. Он дошел кое-как, затянул до упора оба защитных замка – хлипкие, случайные, ненадежные, – все же сделалось ему немного спокойнее. Может, стулом подпереть? Но не было у него обычных стульев с обыкновенными спинками. Все равно, подумал он, пока будут ломать, он успеет. Успеет что-нибудь – набрать 02, закричать с балкона, открыть воду, дабы лилась на соседей: тогда обязательно прибегут. О том, чтобы сообщить подъездной охране, речи не шло – в междоусобные дразги жильцов привратные молодцы никогда не вмешивались, даже поубивай ответственные владельцы друг дружку до смерти. Вахтенный долг – держать и не пущать чужих, а уж что там творят свои, не их ума дело. Те, кто могли прийти за Леонтием несомненно были из своих. Он совсем зарапортовался. Что за чушь! Свои, чужие! Хотели, давно бы пришли. Подумаешь, какой невиданный страж Петька Мученик. И не все же время он до сих пор сторожил. С чего Леонтий-то завелся? Запер дверь и ладно. Но было ему по-прежнему страшно.

Леонтий снова лег, натянул до подбородка остывшее одеяло, принялся медленно считать сначала до сорока, потом до ста, потом дышать глубоко, на один длинный вздох два коротких выдоха. Не то, чтобы стало ему спокойнее, но он отвлекся от мыслей вообще, будто бы сознание его повисло в узком, душном коридоре между мирами бодрствования и сна, в пространстве которого не допускаются никакие мнимые или реальные чувства. Так он лежал, по-заячьи скрюченными руками вцепившись в край сатинового чехла, зубы его голодными, жующими движениями впивались в жесткий угол накрепко сшитой ткани, вымочили его насквозь слюной, но Леонтий ничего не замечал. Пока вдруг в его памяти не всплыло, четко и с укоризной: а письмо-то он не открыл и, как следствие, не прочитал, долгожданное письмо – он успел отметить, что пришло, успел еще до того, как животный страх подчинил его себе.

Так бывает, знаете ли. Сбили вы, допустим, личным автомобилем на дороге человека – пусть не по своей вине, пусть он лыка не вязал и шел напролом через кусты, а вовсе не по пешеходному переходу, пусть даже дело было глухой ночью на неосвещенном участке шоссе, пусть вы ехали сорок в час и тормоза в порядке. Пусть. Но вот вы сидите на грязной обочине в умственном затмении и непробиваемом ступоре. Вам бы тем временем: срочно звонить в полицию, с добровольным содействием, или оказывать первую помощь, хоть какую, после зачтется, или фотографировать на телефон место происшествия, пока заметны следы, или призывать и заинтересовывать свидетелей вашей полной невиновности. Однако вы сидите и сидите, в голове ни единой мысли, только безбрежный океан пустоты. Как вдруг. Ба, да ведь ко мне Люська через полчаса придет, а я! Ключа-то у нее нет! Беда. И давай названивать этой Люське. Потом уже естественно в полицию, потом – первая помощь, потом – по списку: телефон, свидетели. Все, в итоге, заканчивается изрядным геморроем, но мирно, без следствия и тюрьмы, полюбовно, для всех трех сторон (под третьей стороной подразумеваются работники ГИБДД, несущие тяжкую службу в дождливую ночь) – выплата небольшой компенсации пострадавшему алкашу, выплата вознаграждения, уже побольше, за протокольную маяту (несчастный, непредумышленный случай без жертв и травм чего-то тоже ведь стоит). А все почему? Спасибо Люське, что вовремя напомнила о себе. Хотя Люська-то как раз ничего не получила, кроме испорченного вечера...

Вот и Леонтий оторвался от процесса жевания одеяла, схватился, потянул к себе лэптоп, улегся поудобнее, поджав нервно подрагивающие колени к обслюнявленному подбородку – заметил, утерся, на миг стал сам себе неприятен, – потом, наконец, открыл нужное почтовое окошечко. Уф, надо же и делом заняться. Хотя, строго говоря, это было никакое не дело. Это было...

Минуточку. Пожалуй, без некоторого отступительного разъяснения не обойтись. И вряд ли будет оно кратким. Но может, кому-то покажется весьма интересным, или даже интригую-

щим. Итак. Все началось с того, что где-то примерно с год назад Леонтия одолела одна трепещущая мысль. Нет, если честно, началось все еще раньше, с некоторого неудобства в ощущениях, которое постоянно испытывал Леонтий, общаясь, «чатясь», играя, работая, и просто любопытствуя без конкретного побуждения в пространстве интернета. Неудобство это можно было бы охарактеризовать следующим образом одной лишь фразой – эстетическое голодание. Не то, чтобы Леонтий слыл таким уж безупречным эстетом во всех отношениях, вкусы его во многом оставались приземленными и согласно собственному мнению о себе – «неразвившимися из личинки в бабочку». Кроме земли обетованной его устойчивого существования – речь шла об области языкознания, ее грамматических, стилистических, синтаксических, семантических идиллиях. Это был райский сад вожделений, оазис благотворный, заветная страна Беловодия, неприкосновенный прометеев огонь, любимая игрушка и обожаемая работа. Конечно, в журналистике свои особенности, Леонтий мирился с ними, а что оставалось делать? К его действительно неподдельному прискорбию, он сознавал свою литературную беспомощность, не оттого, что не сумел бы написать хороший роман, небольшую повесть или рассказ, нет. Дело обстояло куда хуже. Он не смог бы ничего этого придумать. А без нимба, сверкающего аполлоническим сиянием безудержной фантазии, в святые апостолы художественной прозы он не годился. Он был великолепный интерпретатор, оформитель, рассказчик чужого слова, в этом заключался его безусловный дар – но и только. Трепать перо на заданную тему – сколько угодно, умно, тонко и в меру иронично, из него вышел бы, пожалуй, неплохой критик, будь Леонтий посмелее, если бы смог он преодолеть органическое отвращение к тому, чтобы за просто так обижать малознакомых ему людей, хотя бы и справедливо – от заслуженности наказания обида становится еще горше, это он понимал, и не поднимал руки своей, дабы вывалить бездарного ближнего в грязь. К интернету же он пристрастился, как любой среднестатистический наркоман привыкает к доступному в свободе дешевому «балдежу». Да и редкое вечернее одиночество в последние годы порой давило его. А тут – какой простор! Прямо будто название в честь любимого им полотна Репина. Только корбило Леонтия, от рубленных фраз, от пропущенных букв, от варваризмов, от письма на скорую руку вопреки всем правилам словоупотребления. Нельзя же так! Восклицал он частенько вслух, оставаясь тет-а-тет с «ноутбуком» по вечерам, все равно никто не мог слышать его. И в мысленном представлении тогда всплывали недостижимые эпистолярные изыски прежних времен, не то, чтобы «Очакова и покоренья Крыма», но хотя бы переписки Белинского и Гоголя, Чехова и актрисы Ольги Книппер, или измусоленного до банальности Пушкинского шедевра «Письмо Татьяны к Онегину» и соответственно обратно – его послания к ней. Пока однажды он не решился – возродить! И возродить немедленно! Создать своеобразный интернет-клуб, для всех желающих и страждущих, пусть их будет немного, зато в тельняшках – в смысле, немного преданных и увлеченных эпистолярным жанром, можно историческим, можно современным или даже придуманным по случаю. Лишь бы было красиво, сильно, с присутствием мысли и оттенком чувства, с дуэльными правилами чести для несогласных оппонентов. Ведь вот что еще! Что еще раздражало Леонтия в мире виртуальных отношений. Возможность и позволительность безнаказанного унижения и оскорбления кого попало кем попало – не дочитав, недопоняв, иногда даже едва взглянув одним мутным глазком, хамы и просто мало воспитанные люди выдавали в печать такое! Что Леонтий взаправду начинал жалеть о недоступности немедленно «дать козлу по морде», пусть он окажется втрое сильнее и вдвое выше его ростом. В своем клубе он намеревался покончить со всем этим. Без насильственных методов, без открытия анонимности пишущего и участвующего, без ответных оскорблений. Он составил Уложение, нечто вроде программы его клуба, долго и кропотливо возился, чтобы получилось одновременно призывно и доходчиво, и предложил всякому согласному с ним желающему вступить – подписаться добровольно под каждым словом или хотя бы отправить короткое «да». Но если бы затесался случайно, или может быть, нарочно, в их ряды «хам вокзальный», краткая рекомендация гласила: ничего не пред-

принимать, ничего не отвечать, а как бы делать вид, что его вовсе не существует – бойкот сви-репое и ехидное дело, главное, само по себе оскорбительное весьма. Итак, однажды, в осенний дождливый день интернет-клуб «Свинопас богоравный» (крутой закос и замес на «Илиаде» Гомера) под его водительством начал свое существование. Девиз интернет-союзников был провозглашен: «ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР, ДА ЗАПОЕТ В ПАРУСАХ «ЛЕТУЧЕГО ГОЛЛАНДЦА»! То есть: чем безумней мечта, тем она прекрасней.

Леонтий помнил, как первым откликнулся какой-то суматошный паренек, пожелавший представиться: ботаник-о-чем-не-жалею. И вот этот самый ботаник разразился студенческим стишком, дабы поддержать коллективный нестойкий дух будущих корсаров нового корабля.

Разбежались мои мысли:
Мимо – станции, как выстрел,
На «Сапсане» кто куда.
Телеграфные, борзые,
Женолюбо-озорные,
Электронно-наливные.
А в стакане «Хванчакара»,
Географии ура!

Как-то так. Но для начала сойдет, подумал тогда Леонтий. Все же рифма была на месте, и много затейливых, хотя довольно невнятных слов. Начинание его резво и феерично разрослось. Однако довольно скоро выродилось. Закончилось разочаровывающим пшиком пиротехнической самопальной ракеты. И было это естественным, малоприятным процессом. После Леонтию даже казалось странным, как это он изначально не смог предвидеть, предсказать такой грошовый исход для миллиона душевных своих затрат. Неубывание энтропии в случае «богоравного свинопаса» вышло прямо-таки чудовищным. Поначалу все шло хорошо. Писали, читали, изошрялись – как он того первоначально желал. Девиз и Уложение клуба тоже не делись никуда, были одобрены, отличены, подняты на знамя. Кто-то из приобретенных им эпистолярных друзей подражал Шадерло де Лакло, кто-то брал за образец любовную переписку лейтенанта Шмидта, кто-то пародировал стиль высоких официальных, дипломатических бумаг – имелся даже один «ТАСС уполномочен заявить». Кто-то не мудрствовал лукаво, шел от себя, эти послания как раз и были наиболее интересными – ультиматум, предъявленный Саруманом серому Гэндальфу, выпускники Хогвартса пишут коллективное письмо лорду Вольдеморту, или еще похлеще: признание в любви диктатора Пилсудского наркомвоенмору Троцкому. Леонтий радовался – под его эгидой и смекалкой получался настоящий римский форум, или, бери выше! – греческая агора, оставалось только дожидаться появления Цицеронов и Демосфенов соответственно. Можно будет писать не выборочно письма от госпожи А к господину В, или от месье В к мадам А, но и целые речи, в защиту и против (доколе, – О, Катилина! – будешь испытывать терпение наше...!), хоть завтра поражай слушателей ораторским и риторским искусством.

Как оказалось, радовался Леонтий рано. В смысле, рано радовался. Потому что однажды весь его эпистолярный романтизм очень резво начал скатываться в канаву, то есть – в обыденную пошлость. Причина случившегося упадка была проста. Как солдатская портянка. И точно так же стара, как обитаемая ойкумена. Если реальность в голове не совпадает с миропорядком за окном, то любое начинание в этом роде обречено на провал. Письма высокого стиля хороши там, где для них есть законное обиталище, в обществах более рафинированных и, возможно, менее быстрых, в мышлении и развитии. Кареты, кринолины, кабинетная политика, созерцательный романтизм, и сколько угодно надушенных писем, все на своем месте и все вовремя. Но горе побежденным виртуально-технической изнанкой! Когда растаяла новизна,

сгинул безвозвратно первоначальный пыл. «Богоравные свинопасы» как-то слишком сообща и не сговариваясь вспомнили вдруг, что у них есть насущные дела, и дел этих полно – словно бы разом истек срок годности у типового товара. Сначала послания друг к дружке стали короче и как-то скуднее удобрены финтифлюшками, потом плавно восторжествовал лапидарный стиль, потом сменился сам смысловой контекст – это были уже не рулады распустившимся на подоконнике орхидеям, и не мечты о прекрасных незнакомках, но довольно тривиальные обмены хозяйственными репликами. Где, почем, и как достать без переплаты. Пусть речь шла о достаточно приличных вещах: о театральных билетах, например, или об удачно скачанной пиратским способом призовой «Меланхолии», но это все же были явные, неумолимые признаки заката и упадка «свинопасов». Не за горами стояли полки сокращенных обкорнанных словесных суффиксов и окончаний, небрежных ошибок в правописании, и за ними – орды оседланных, взнузданных, готовых к атаке варваризмов. Скоро резервы перешли в наступление. Духу и сущности клуба «Свинопас богоравный» пришел конец. Равно как и его девизу, особенно после того, как один из одиозных новеньких предложил писать его так: ЛТЧИЙ ГЛДЕЦ. Это и в самом деле был полный глдец. Леонтий все понял правильно. Закрывать клуб он не мог, да и не имел желания связываться. Он сделал то, что сам некогда советовал другим относительно «хамов вокзальных» – он незаметно удалился по-английски. Отряд «свинопасов» совершенно не заметил потери бойца, на римском форуме, равно как и на греческой агоре как раз в то время вдрызг и вхлам, с летящей пеной и ярыми гомосексуальными обзывалками, обсуждалась страшно горячая, чесучая тема – удаление биологически природных молочных желез Анджелины Джоли, или ДжОли, кто знает как правильно? Леонтий думал еще не раз впоследствии – а не послужило ли данное им заглавие к скорой гибели клуба? Может, не стоило о свинопасах? С другой стороны, сама свинья всегда сыщет грязь, даже и в стерильной операционной благоустроенной патронажной больницы. Хотя – как вы яхту назовете! Соответственно так она и потопнет. В свинячестве или в чистых морских водах.

Но кое-что осталось. Единственный плюс, единственная выгода, призовая лотерея, в которой Леонтий пока и сам не понимал – что же такое хочет он выиграть. У него остался друг. После того, как, разумеется, появился. Не такой, как Костя Собакин, и не такой, как Мученик, и уж само собой, не Ванька Коземаслов. Вообще же это был никакой не друг, но подруга, без имени, без возраста, без всякой системы житейских пространственных координат, он никогда не видел ее лица, даже на фото, никогда не просил о номере телефона или реальном, не электронном, домашнем адресе. Он только догадывался о ней, кто она и что она, зачем она, и чего ждет от него. В клубе «свинопасов» подруга его оказалась, скорее всего, случайным образом, от нечего делать, иногда по вечерам, так похоже на него, и так не похоже. Словно бы он нашел вдруг вторую свою половину, но не мог увидеть ее вблизи, как реверс одной монеты никогда не смог бы обернуться к своему собственному аверсу. Но одно он знал, невесть откуда, но знал – она пришла, чтобы найти его. Только за этим. Необсуждаемая анонимная разлука была негласным условием их сосуществования и переписки, Леонтий мог только воображать, кто его ждет на том конце словесной нити. Но нить эта разматывалась, он различал на ней цвета и оттенки, он мог уже соткать пока смутный еще образ, но все же, это было кое-что. Она звала себя Сцилла, имя довольно зловещее, настолько, что не оставалось тени сомнения – не настоящее, да и кто же в клубе стал бы подписываться настоящими именами. Он писал ей на странный мейл blagh.durh@..., ну и так далее, все как положено. Наверное, подруга его не желала даже подозрений, будто бы написанное, выговоренное ею можно хоть на малую чуточку принимать всерьез. Что как раз свидетельствовало в точности об обратном, это Леонтий прекрасно понимал. Со временем это и вовсе стало неважно. Потому что, звезды перемигнулись между собой, и протелеграфировали на землю обоим – вот ваш счастливый билет, другого не будет. Тогда они оба стали говорить. Понемногу, по капельке, пока Леонтий не почувствовал – пришла пора, говорить о многом и всерьез, и еще он понял – надо быть готовым. К чему? А к

чему угодно. Но если сейчас не скажет один – о себе, о себе, о ком же еще! – ничего не скажет второй. Все, конечная остановка, переписку можно будет прекращать, потому как пустое и не зачем. И вот, пришло письмо. Которое, как он думал, решает его судьбу. И ее судьбу тоже. Судьбу их странной, пока не разрешенной в реальность, крепнувшей дружбы. Будто бы вместе он и его почти не существующая подруга рисовали некую картину, название которой и весь ее внешний вид им предстояло еще проявить и угадать, ясно обоим было только одно – смысл задуманного полотна, который можно выразить легко и просто: избавление от одинокого себя.

Леонтий, отчасти и затаив дыхание, подвел мышку, коротко щелкнул. Выдохнул. Электронное послание открылось. Сим-Сим! Кто там? КТО ТАМ?

La primavera

...Помню себя очень рано. Давно. Никто не верит. С двух месяцев, наверное. Мир еще не делился на хорошее и плохое. Он был. Однажды мой весельчак-отец забыл меня, спящую в коляске, в ресторанном фойе. Пошел в воскресенье за хлебом, заодно выгулять младенца, встретил дружков – у папаши всегда были полны карманы денег, зубной техник, живой заработок. Вернулся домой без хлеба. И без меня. Батюшки мои! Где ребенок? После этого мать выгнала его. С концами. Или отец попросту надоел ей, или не хотела еще второго взрослого ребенка на свою шею, предлог тут как тут. Она была очень решительной женщиной. И сейчас для меня есть. Рассказала мне много времени спустя. Но этого я как раз не помню. Про отца. Не хочу. Потом он выехал на ПМЖ в Израиль, купил жену и продал дочь – отказался в письменном виде, так полагалось, иначе мать не дала бы согласия.

Все свое раннее детство я прожила, провела как попало, иногда у кого попало. Матери было некогда. Она поднимала экономическое благополучие страны. Руководитель производства, блин горелый, тогда так говорили. Бой-баба, так говорили тоже. Прокладывала нефтепроводы с севера на юг, и с востока на запад, и поперек – через север на северо-запад, прямо как у Хичкока. Мастер, начальник участка, заместитель директора проектного института. Инженер от бога, наваяла подряд две диссертации, на них теперь технари молятся, будто на Талмуд. Интеллигентная. Могла выдать цитату на латыни, примерно с абзац. Простая, как три рубля. Могла загнуть матом, без напряжения. И рукастая. Могла на спор – пол-литруха нечищеного технического, – сменить сработавшийся бур на сорокаградусном морозе. Под Нижневартовском, под Уренгоем-2, и дальше – Тюмень, Ухта, вкалывала не меряно, зашибала деньги, но все просвистывало у нее, как ветер в голове. На ерунду. Никогда не умела копить, и заботиться ни о каком живом существе тоже толком не умела. Я была арифметический остаток в решенном уравнении. Меня приходилось всякий раз куда-то девать. Меня, и сибирского кота Финея, Фишку. Чего ради стоило выгонять отца? У матери были на этот счет непонятные соображения.

Капитально мы все осели в конце концов на юге. Каждый удачливый нефтяник рано или поздно поселялся тогда на юге. И вахтовым методом – на полгода полярная ночь, или день, потом домой, к дыням и помидорам. У нас в городе было восемь проездов нефтяников, четыре линии, один проспект и два шоссе. «Нефтемашремонт», «Нефтегазпереработка», множество других аббревиатур на вывесках, под которыми качали черное золото. Свои гетто, для своих же крепостных. Добротные кирпичные дома, ведомственная котельная, пыльные новые дворы без деревьев. Почему-то только в наших дворах никто не переживал о тени. Город утопал в зелени, будто «Титаник» во льдах, но вот у нефтяных вахтовиков возле подъездов пылало жаркое марево, стояли неприглядные, сожженные солнцем лавки. Все. Одно-два облезлых деревца, – еще когда озеленяли местность для галочки строители, – неухоженные, полу-засохшие. Наверное, нам было все равно. Так мы понимали юг. Чем больше пекла, тем лучше. Само собой, в диковинку прилагались мухи, песочная жесткая пыль, скрипящая на зубах, проливные краткие дожди все лето ровно в четыре дня, казалось, блин, настоящие тропики – выбегали под этот дождь, мы единственные в наших дворах, никто никогда не болел, хотя мокли до нитки, ребятня сразу в лужи по самое горло – луж и грязи было полно, асфальта мало, строились. Мы воображали, лужи эти похожи на море, хотя совсем не похоже, на море мы выезжали, часто, но воображали – не тундру ведь было нам воображать, ха! Многие ее в гробу видали. Попробуй, проживи! Вот и стремились мы на юг. Перелетным клином, чисто дикие лебеди. Нефтяные организации – богатые, и сами нефтяники не бедные. При советской власти особенно были, обыкновенные добытчики и работяги, конечно, я не про тепершних московских фуфлыжников на дармовщинке. Я про то время говорю. Так что, понятно, мне не двадцать лет, а немного больше. Я в школу пошла, еще только Горбачева выбрали. И Брежнева помню,

как он на трибуне шамкал челюстью, долгими часами. Я любила его слушать, мне годика три было, но я уже здорово соображала, и понимала тоже достаточно. Мать, когда не кочевала, всегда включала мне перед сном, наспех, старый убитый «Рекорд», черно-белый с рябью, он был вместо няньки. Я лежала тихо-тихо, не мешала, не просила внимания, но и засыпать не торопилась. Программа «Время» начиналась в девять часов, заканчивалась, когда товарищу генсеку было угодно, случалось и за полночь, если читал обращение к съезду. Я думала о нем – он мой любимый домашний дедушка. Так убаюкивающе он бубнил по бумажке, почище всяких спокойнойночимальшей, про которые я уже тогда решила: слюнявый отстой. Читал он всегда одно и то же, я подсказывала, как попка, не понимая смысла: агропромышленный комплекс, автоматизация производства, – ему трудно давались эти слова, а я их знала, красивые, как развернувшийся в полете серпантин. Ну и про империалистов вдогонку. Когда он умер, я плакала. Искренне и с тоской. Я, может, была единственным маленьким человечком, который никакой ему не родственник, но так горько плакал по покойному. Будто бы умер мой настоящий родной дед. Который, надо сказать, козел был страшный. Плевать, что о покойниках или хорошо, или... брехня, сколько их помоями поливают, давно это правило забыто.

На мать я не обижалась. Никогда. В детстве, понятно, надо сначала почувствовать, узнать, что именно это обида, а потом уже..., сравнивать-то не с чем, мы все сначала всё принимаем, как есть. Как данные граничные условия. И люди все разные. Прямо от рождения. Мне, – глупо признаваться, но чего уж там, – выпала на руки дурацкая карта, или очень неудобное природное свойство. Я точно знаю, это редко бывает. Реже, чем болезнь Дауна. И неизвестно, что хуже. Такая я получилась сразу – во мне присутствовал идеальный мир. Все-все невыполнимые человеческие правила, какие можно представить, я принимала за чистую монету и точно их представляла, будто каким-то предзнанием. Типа: лгать нехорошо, старшим грубить нельзя, не сместь красть, даже еду с голодухи, не попрошайничать, не ругаться, не драться, а взрослые справедливы, непогрешимы, и все делают по совести. По коммунистической, разумеется. Или еще круче: как же мне повезло, что я родилась в СССР: можно спокойно заболеть – рядом самые лучшие в мире больницы, можно не бояться на улице и дома – самая крутая милиция меня бережет. Везде можно летать на самых летучих самолетах и плавать на самых непотопляемых кораблях. Мне силком не прививали эту бредятину, я с ней родилась – я уже говорила. Оставалась малость – привести в соответствие себя и мой идеальный мир внутри. Мир снаружи и так был чудо, я в это верила. Сколько могла долго. То есть недолго совсем. Но я старалась.

Да куда там! В детском саду уже началось. Концы катастрофически расходились с концами. Не лгать и не просить, как и не отбирать у товарищей, в принципе получалось. А вот не драться, не жаловаться и не ругаться! Были проблемы. Ну, блин дают! я лучше всех читаю вслух стихи и помню наизусть, никогда не запинаюсь. А снегурочку играет Оля, коза-дереза набитая, потому что у нее мама воспитатель старшей группы. Где справедливость? Нет ее. Так было во многом. И никак иначе быть не могло. Два мира расползались в разные стороны, будто их гнилой ниткой шили, я была несчастна. Но и тогда понимала – люди, собаки, облака, моря, машины, светофоры не виноваты, они живут, как могут. Это у меня что-то не получается. Поэтому на вопрос «кто виноват?», я во всю свою жизнь отвечала однозначно. Помогало.

Зато меня не отдавали на пятидневку. Не из жалости. Матери было в тягость хлопотать, оформлять лишние бумаги, доверенности, выбивать место. Взяли в ведомственный детсад и будет! Она вообще считала – наверное, очень правильно, не знаю, своего ребенка у меня нет, – дети ни в коем случае не должны мешать взрослым, не должны заедать их жизнь, они маленькие, ничего из себя не представляют, их место шестое. Лучший кусок, перебьешься, у нас закон джунглей – кто первый схватил, тому досталось. Хватал, надо думать, сильнейший. Сыта и ладно. Вообще-то здорово закаляет. Нос сопливый, температура: будешь знать, как вспотевшая хлестать холодную воду из-под крана. И очень быстро я научалась не пить эту воду, не ходить в холода без шапки, мыть руки и спускать после себя в сортире – иначе за последствия отвечала

сама. А кому охота? Без всяких там напоминаний, без ой-ой-ой деточка, дай утру тебе глазки, или попей горячего молочка. Хочешь молочка? Вот тебе холодильник, вот тебе газовая плита с ковшиком, согрей и пей, сколько влезет. Потом вымой за собой. Еще меня никогда не били. Мать могла так припечатать одним словом, или обозвать: «бледная спирохета» – и объяснить, что это такое, и почему это я, достаточно было – поплачешь за занавеской, в другой раз сообщать начнешь лбом, а не задницей. Я думала тогда, она все делала правильно. Я и теперь так думаю. Вот где мир идеальный совпадал с миром действительным. Единственно. Потому что идеал – это не рай с кучей игрушек, с горой халвы и мороженого, с куклами и белыми бантами, рай – это когда именно по-твоему все правильно, и это непротиворечивое бытие. А у матери все было как раз по-моему правильно. Без перебоев. По одному и тому же закону. Закону джунглей или еще какому. Но по одному раз и навсегда. Так можно, а так нельзя. И ей и мне, без исключений и праздничных скидок. Без двойных стандартов, если по-современному. А то бывает, вроде добрый человек, сюси-пуси, но вот блин, наперед не знаешь, тумак от него получишь или конфету, такие люди всегда вносили разлад. Они раздражали меня и смущали сильно. Я думала, лучше бы их не было.

Во дворе и в детском саду приходилось порой плохо. И не только там. Но по тождественной причине – я была одна, сама за себя. В буквальном смысле. А не в том, что страдала от какого-то там придурюшного одиночества, будто Мальвина за Пьеро, вот уж чего не было никогда. Попросту за мной никто не стоял. Ни папа-мама, ни брат-сестра, ни бабушка-дедка, ни тетя-дядя, вообще никто. Матери, наверное, скажи – завтра меня расстреливать поведут, в лучшем случае услышу: ты натворила, ты и разбирайся. В худшем задаст вопрос – в котором часу? в девять? тогда дверь захлопни, квартирные ключи оставь на полочке. Ну и что? Я ведь тоже с ее проблемами не помогала. Я в них не вникала даже, мне было до фонаря. Маленькая? Здесь не бывает маленькая или большая, если ты понимаешь, что у человека заморочка, значит, уже по одному этому можешь помочь. Стакан чая хотя бы подать, или послушать, потерпеть, если нудно, покивать головой, все легче.

Другие дети и родители их жили вокруг меня будто бы кланами. Грызлись промеж себя, как без этого, зато против чужого выступали, что твоя русская рать на Куликовом поле против монголо-татарина. Я и была всегда татаринком. Всегда виноватым крайним. Как? Да так. Шалили, сдернули нечаянно на площадке стирание белье с веревок. Свои детки насвистели предкам в уши, те, конечно, поверили, и надрали уши уже мне. Оттого – мне можно было. Вступить-ся-то некому. Но это-то ничего. Потому что, потом мои уличные друзья-приятели все равно приползали ко мне, кто с конфетами, кто с раскрасками, с шариками-свистульками, хотели дружить – дружить-то было выгодно. В следующий раз на кого сваливать? То-то. Я даже гордилась своей независимостью, воображала себя чуть ли ни Гаврошем под пулями жандармов – читала я много и не по возрасту, оно и понятно, библиотека у нас была, «Ленинка» бы позавидовала, уж на книги мать ничего не жалела, за что отдельное спасибо. Ну и дворовый оброк шел впрок, конфеты у нас в доме редко случались, при этих-то деньжищах, мать не любила сладкого, я тоже считала справедливым, если она без конфет, то и я. По-честному.

Хуже, когда не ругались. Хуже было, когда соседи шли куда-то всей семьей. В Луна-парк, например. Как я мечтала о Луна-парке! Лет в шесть, наверное. Я, понятно, верила матери, что это вульгарное надувательство, для люмпенов, балаганное развлечение низшего сорта. Что делать, едва в наш город приезжал этот самый парк, всегда почему-то из Чехословакии, и всегда в одно и то же место у черта на куличках, если считать от нашего дома – я прямо покоя лишалась, хоть бы одним глазком, только посмотреть! Навоображала я себе с три короба. И про американские горки, и про комнату страха, чего и быть не могло. А тут наши тянулись из окрестных домов прямо-таки караванами, и возвращались груженные, как верблюды-бактрианы: жвачками, куклами, разноцветными колечками какими-то, фигней, одним словом. Для детворы, понятное дело. Но не то меня ело, что колечки, на кой мне их стеклянная дребедень

– у матери из якутских бриллиантов гарнитура три, наверное, было, на заказ через знакомого ювелира, она и мне давала примерять, ей плевать, что соплюха – однако предупреждала, мол, потеряешь, носом землю будешь рыть – носом рыть не хотелось, я их таскала только дома, и только для себя. Тут ведь в другом суть. Куклы, жвачки и прочие подарки просто так было не выиграть в этом парке. Давали разве какие-то черно-белые открытки с видами на Волгу, копеечные. Так родители наших нефтяных детишек тайком приплачивали, и вдвое и втрое против рыночной стоимости, чтобы детки именно хорошие призы выиграли. Все об этом знали, и все хвалились, родители – что такие хитрые, детвора – что их так любят и ничего не жалеют. Вот в подобные-то моменты я чувствовала, остро и больно, что мне чего-то недостает. Будто вокруг тебя породистые собаки, а ты единственно дворняжка. И что свобода, полная там, или относительная, иногда – такая херня! Когда семья большая и тесная, оно конечно, свободно не дадут повернуться. Зато и упасть не позволят. Опять у меня возникала неразрешимая проблема идеального мира. Со временем я расщелкала ее гениально и просто – а ты не падай! Толкай других, если нужно, сильно и жестоко, но не падай. Ни в коем случае. Но это я сильно забегаю вперед.

Воспитание у меня было вроде как походное, гусарское, со всеми вытекающими. Здесь я все о дошкольном периоде веду речь. От застолий меня никогда не отстраняли и не гоняли. Уж застолья-то были! Попойки, а не застолья. Научно-технической интеллигенции. Забористые. И всегда у нас. Мать не любила, как она говорила – шляться по хаткам. Я, кстати, тоже, это у меня от нее. Зато к себе назовет кучу народу, в основном мужиков с работы – жены их мою мать ненавидели люто, только поделаться ничего не могли, мать уже на номенклатурной должности сидела, ее надо было улаживать. И две подружки были у нее, такие же безбашенные. Одна актриса местного драмтеатра, который гаже много драмкружка, Люся-шуба, последнее – прозвище, она шубу из мутона носила в нашу-то южную зиму, гордилась, шуба была венгерская, с толкучки, ей до пят. Белобрысенькая, добрая, в голове совершеннейшая дыра, у нее тянулись переходящие, бесконечные романы с кем попало, до завтрашнего дня, она вечно занимала у матери деньги, и чудо! Иногда отдавала. Мать тогда хохотала и спрашивала сквозь смех: Люська, чего продала? И та в ответ с гоготом: тело, тело! Но это шутка была такая. Никто из них денег за любовь не брал, никогда, это тоже было правило, по материнскому закону. А мне, как застолье, разрешали что угодно, в смысле никто не обращал внимания, хоть на голове стой. Я и стояла порой. Мне, случалось, хлопали. Чисто цирк и бесплатное развлечение. Я ползала под столом, щипала гостей за ноги, могла и туфли местами переставить, если кто умялся и снял, ничего – у нас в доме гости не оставляли обувь в прихожей, мать терпеть не могла дырявые носки, штопанные на пальцах колготки и запах от ног. Полы она не жалела, у нас был простой паркет, плохо циклеванный, как строители положили, так он и лежал. Еще под столом случались во множестве пустые бутылки, от портвейна, от грузинского вина, от водки, ясный пень, какие же нефтяники и чтоб не пили сорокаградусную. Что внутри, что снаружи, что для сугреву, что для стужи, плюс на минус поменяй и в желудке уравниай. Такая прибаутка. Я цапала со стола все, чего только душа хотела – соленые огурцы, покупные, магазинные, вода водой, еще квашенную капусту-кислятину, моченные яблоки и даже засоленные арбузы, уже все с рынка, если летом – овощи-фрукты, салаты – крупно нарезаны, будто порублены, будто саблей в военном походе, еда всегда была так себе, шпроты в банках, картошка в мундире, наш местный кооперативный сервелат, вкусотища, грызла прямо от куска, вволю, вдобавок я любила есть петрушку с сахаром, натаскаю с тарелок, и сахарницу с собой под стол, наслаждалась. Спиртное никогда не трогала, мать всего-то раз сказала, что детям запрещено, и уже не присматривала за мной, но и в моем идеальном мире этого тоже было нельзя, значит, я не покушалась, к тому же из пустых бутылок противно пахло. Я, между прочим, на это самое спиртное до шестнадцати лет не покушалась, нельзя, плохо и точка. Что потом поменялось, вот об этом как раз потом, когда-нибудь. Слушала всякие травленные байки, бывало и правдивые

истории, часто ужасные: как страшно, когда «рвет скважину», и тогда спасайся кто может, и как однажды случилась утечка на перерабатывающем заводе, погибла целая смена, такой огненный шквал бушевал, не выбраться. В тот раз пили за погибших, чехвостили вышнее московское начальство, что вот есть же технологии ранней диагностики, у нас в стране есть, так какого лысого черта! Оборудование закупили? Закупили. В Японии, лазерное, неслыханное, между прочим, за валюту. Вот это самое оборудование и валялось во дворе того самого завода, что сгорел. Собрать не смогли, потому что министерство никак не утверждало эксплуатационную смету. Тоже сгорело японское диво к едрене фене. Обычное дело. А я думала – разве в нашей самой лучшей стране не все безупречно мудро и безопасно? Становилось не по себе. С другой стороны, чего с пьяных глаз не наболтаешь, может, не все правда, я утешалась этим хлипким предположением и слушала дальше. Меня не гнали. Спать я все равно не могла толком лечь, пока гости не соберут или не отодвинут стол. И самые стойкие не отправятся догуливать на кухню. Мать могла так хоть три дня и три ночи, а утром всякий раз на работу, ее прозвали даже «титановый угар» в мужском роде, за нестигаемость.

Часто она уезжала за границу, моя мама, меня никогда не брала, даже в Болгарию, на Золотой Берег, ей путевки доставались свободно. Не фиг баловать, вот и весь сказ. Для мелких моллюсков есть сначала выездной летний детсад, потом пионерлагерь, любой на выбор из бесчисленных «огоньков» и «костров», все ничего себе, от нефтяных организаций, сытные, с программой летних праздников, типа День Нептуна, и даже актеры из «Неуловимых мстителей» приезжали как-то раз. Я полюбила пионерлагеря, порой по три смены подряд, – там детвора без пап и мам, отдельные персонажи, а я как лицо изначально самостоятельное всегда попадала в какое-нибудь малое начальство, командир отряда там, или санитарный староста, было круто, потому что мне полагалось знать пароль, а значит, я могла сдрыснуть, совершенно законно, за ворота в ближайший поселок, хоть во время тихого часа, хоть в обед, хоть в ужин. У меня всегда водились дружки из местной ребятни, меня побаивались, потому многие слушались, кроме отпетой пацанвы, но к таким я и сама не лезла, ну их. Это тоже было вроде первого урока, хотя выводы из него я сделала намного позже, когда шишек набила мама-не-горюй, но он был, и был неоценим. Сила и власть любой неидеальный мир, конечно, не преобразуют в идеальный, но заставят его тебе подчиниться, а значит, сделают удобоваримым и сносным для существования.

Так о матери. Ездил она часто. С подарками «из-за бугра» дело обстояло, когда как. Когда густо, когда кот заплакал, когда шиш. Могла навезти фиговин, что и не влезало. Фло-мастеры там, по тридцать шесть штук в упаковке, школьный ранец со стоп-фонариками, колготы с узорами, всего не исчислить. А могла все спустить на гулянки, тогда мне доставались наспех купленные открытки с видами или толстые картонные подставки под пивные кружки, или вовсе ничего. Навроде спортлото, только выигрыш был чаще. Я не расстраивалась – тут как в казино, сегодня продулся в пух и прах, завтра твой день. Отчего мать так легко выезжала за границу? Не-е, не только из-за кучи нефтяного бабла. Ее и в Калифорнию посылали, и в Корею Южную, и в ту же Японию. Все просто. Она была внештатная. Ну, внештатный сотрудник, который числится за КГБ. Потом узнали, после августовского переворота. Мать уже в гробу лежала. Мне доложили доброхоты, только я слюной плевать хотела – сказала, ну и что? А я горжусь. Такая работа. На благо государства. Всегда ее назначали старшей в группе, поэтому. Я точно знаю – случись чего, мать бы меры приняла крутые, положиться на нее можно было не раздумывая. Разговоры там, о побегах в эмиграцию, или потеря морального облика советского человека – шуточки бы шутить не стала. Зато никогда не трогала тех, кто на семью вез, или подкалывать хотел. Да на здоровье. Поменять валютку на икру, на «командирские» блатные, на водку-селедку при ней получалось запросто. А поскольку как раз среди нефтяных туристов недовольных отечественным строем и дураков нет, с матерью ездить любили – говорили «железная Галка – человек!». Она и денег могла займы дать, если кому не хватало на

дубленку или джинсовые порты, и спросить возврат черт-те когда, если вообще назад спрашивала. И в официальных делегациях точно также, пусть даже академики и директора ехали, вся оргработа лежала на ней. Ну и поскольку сопровождавшие делегацию обычно молодые мужики ничего себе, я имею в виду тех, кто сопровождал «оттуда», а мать на симпатичных и без комплексов была падка, если на раз и без обязательств, то с ней и «оттуда» ездить любили тоже. Один чуть жену потом не бросил, пока не пригрозили, мол, расстанешься с погонами – ему как раз майора обещали на повышении. Поогорчался, поогорчался, Толик его звали, мать быстро мозги вправила – семейный, иди, живи с семьей, нечего ваньку валять. После забредал еще несколько раз, водку со всеми вместе пил, мать его спраживала. Я думаю, справедливо. Хотя Толик был мне симпатичен, в нем тоже присутствовало нечто «правильное», я чувствовала, наверное, может, поэтому он послушался мать, и вернулся, откуда к нам пришел.

Вообще ненастоящих, приемных отцов у меня было..., сейчас посчитаю. Ага! Числом «три». В разное, естественно, время. Дядя Коля, дядя Паша и дядя Стася. Все трое – заядлые подкаблучники, какие-то социальные беженцы, они за мать цеплялись, будто второклассные, списанные пловцы за надувной матрас. Нет, отцы эти мои не были ни алкашами – дядя Стася вообще не пил, только присутствовал рядом, его мучила язва, – ни бездельниками. Они были... как бы это сказать? Да и не лузерами даже, если выражаться, как теперь говорят. Дядя Коля, между прочим, колоссальные бабки зашибал, автослесарь божьей милостью – по тем временам, все равно, что местный олигарх. Они как бы не умели сами за себя, все трое, куда жизнь их приткнула, там и ладно, даже если неладно совсем. Как дерьмо в проруби, болтается, болтается, или попадет, наконец, в отстойник на удобрения, или утонет со временем, или случайно выловят. Это не значит, что люди плохие, но уж очень зависимые от внешних обстоятельств, притом пугливые, как премудрые пескари. И растерянные. Вот, к примеру, – с дядей Пашей в обычный наш квартальный продмаг ходить за пропитанием было одно мучение – станет у прилавка и стоит, смотрит на меня, кроху девяти лет, бараными глазами: чего купить? Не дай бог два вида масла там, или вареной колбасы, нипочем не выберет, продавщица ругается, он только ресницами хлопает. Приходилось мне: дайте того и этого, он потом сумки нес. Говорили – какая у вас сообразительная девочка, сказать «дочка» видно язык у сочувственных баб не поворачивался, похожи мы были с дядей Пашей как свиня на коня. Мама с ним познакомилась – на совещании, явился, как она смеялась, «кусками бритый», то есть неровно. А еще кандидат наук! Она – ему: вам что подарить, лампочку или зеркало? У нас он прижился. До самой маминой смерти. Вернее, до гибели. Об этом пока рано. Вообще-то, сложись все по-другому, может, он остался бы у нас, расписался бы с матерью, и были бы мы все трое навроде, как семья. Первых-то двух мать выперла в конце концов – дядю Колю сосватала подруге, не Люде-шубе, второй, Насте-рыженькой, мол, надоел, много хлопот, а просто дядя Коля своего ребенка хотел – тихо хотел, намеками, однажды отважился, прямо сказал, глаза в пол с перепугу, – мать как услышала, так до свиданья мальчик! Настя-рыженькая ему двоих родила, брата и сестру, двойняшек. Все счастливы. А дядю Стасю выгнала за дело. Он из ее института был, из отдела техобеспечения, матери ниже рангов на пять, мать-то уже замдиректора, тогда молодых руководителей – ну, относительно молодых, – выдвигали, дескать, перестройка, то да се. Мать моя Горбачева терпеть не могла, языком махать – не лопатой, так говорила. И еще – что выродились все в этом их Политбюро, не оттого, что старые, нет. Оттого, что «сказать» и «сделать» стали в значениях путать и мешать, а оно не одно и то же, не колдуны, чтобы заклинаниями джина вызывать: пусть бы он дворцы строил. Так вот дядя Стася – он на сторону ее врагов стал, подкупили чем или застращали, в общем, на каком-то там совещании он ее сдал, она просила не говорить, под большим секретом, о внеплановых поставках, а он, гад, вломил ее по полной. После, конечно, долго-нудно каялся, прости, дескать, я такой. Ну, что мать ему ответила, и в каком направлении послала из нашей квартиры, я повторять здесь не возьмусь, стыдно без нужды этикие-то слова, самые приличные не для каждого забора сгодятся, а я слышала своими

ушами, думала, вот здорово! Еще думала, что все по совести, если ты такой слабохарактерный, иди в дворники, или вообще лучше дома сиди, супы и каши вари, в дворниках тоже храбрость нужна, к примеру, собак бродячих гонять, или пьяных с утра. Блин.

Во времена как раз дяди Стаси я в школу пошла. Тоже, как и в детском саду, одна за себя. Хотя мать расстаралась – она учебе, вообще всякой, не только в школе, придавала все-ленское значение. Это как человеческий костяк, что сложится, такая будет жизнь. Она отдала меня в хорошую школу, с английским уклоном со второго класса. По благу, единственный раз. А дальше – плыви, как хочешь, авось, выплывешь. За отметки буду убивать – так сказала, – я сразу поверила, убьет, не побрезгует. Пришлось грызть гранит науки, страшно тяжело, потому что, мне хотелось – чтобы все идеально, как не бывает. При дяде Паше разве стало полегче, он любил мне объяснять, важно, с расстановкой, никогда не ругался, если я не понимала с первой попытки, очень терпеливо шел на второй круг, когда и на третий, наверное, всякий раз чувствовал себя большим и нужным в семье человеком. В первый класс, на первый звонок я отправилась сама, то есть, без всякого при себе сопровождения. Мать была в длительной командировке. Сама завязала два белых банта, сама накануне купила букет хризантем для учительницы, хотя думаю теперь, меня надули не меньше, чем на рубль, тогда это были деньги. Тем более, на юге, где цветы копейки стоят. Но я не торговалась – и мать не торговалась на рынке никогда, я считала, в идеальном мире это не годится, это ниже человеческого достоинства. Правда, в идеальном мире детей надувать тоже не полагалось, потому я решила – это так надо, такая цена. Вот я с букетом, в новой форме и в фартучке – все сама выгладила, и воротничок пришила белый, кружевной, – пошла, как принцесса-золушка. Гордилась страшно, даже не расстроилась, что все первоклашки были с папа-мама-дедушка-бабушками. До этого меня в детсад и обратно тащила чуть ни силком соседка, тетя Оля, с ворчанием тащила, ее собственный сын Шурка в тот же сад ходил, толстый, неуклюжий, я вместо «спасибо» защищала его от дразнилок, когда и драться за этого жирдяя приходилось. Тетя Оля-то ворчала не потому, что я была ей в тягость. Не-а. А вроде как в осуждение моей матери – дескать, дите по чужим людям, без присмотра. Будто я в нем нуждалась! В глаза сказать не смела, муж у тети Оли простой мастер смены, а тут замдиректора, она хорошая была, только какая-то ограниченная. Я не любила с ней оставаться, ни с ней, ни у нее. Не из-за Шурки, он был всего лишь увалень и больше ничего, вялый и невозможный на подъем. Но как-то неуютно мне приходилось – тетя Оля не то, чтобы жалела меня, скорее не понимала, как мы с матерью живем, ей это казалось диким несчастьем. Иногда так смешно она вздыхала и бросала вскользь «По мужикам!». Наверное, воображала, я не понимаю, к чему это она. Я понимала все. Только не могла взять в толк – чего плохого? Но по ее счету было плохо. Все у нас было плохо. И ведь не объяснишь, что нормальная житуха, получше, чем у нее. Где вольная, где строгая – а вместе то и другое замечательно. Я просилась, чтобы не с тетей Олей, пусть бы с бестолковой Люсей-шубой, хоть в примерке в углу, иногда приходилось спать, уткнувшись носом в колени, не Малый театр, но все равно лучше, однако не всегда это получалось, белокуренькая Люся-шуба тоже любила «по мужикам», и куда чаще у нее случалось. Первый класс зато как бы выдал мне права на полную самостоятельность – передвижения, пропитания и даже на ночь я спокойно оставалась одна, порой недели две подряд. И ничего, дом не сгорел, я не угодила в детскую комнату милиции, конец света тоже не настал.

В школе я будто застряла между двумя мирами – миром учеников и миром их же учителей. Попала я, конечно, как мелкий кур в оцеп. Училась у нас в этой разнесчастной престижной школе – тогда не было еще слова «элитной», – всяческая «блатата». У нас так говорили на юге – о рыночных воротилах, всяких там подпольных деятелях, заведующих прод- и промбазами. О позднесоветских торгашах, если короче. У нас в школе их было – на приличную zappyду хватит. Мать их ненавидела, как врагов народа. Но мне одна отповедь на все про все – терпи! Ибо знание – сила. Scientia est potentia! Во как! Запомнила, навсегда. Тебя зачем

послали? За приятным времяпрепровождением? За отличным аттестатом, или хотя бы очень хорошим. И чтоб в голове пусто не было. Я старалась, как столяр Джузеппе для папы Карло у верстака. Торговые ребята меня сторонились, пионерская организация тогда уже на беду себе шаталась, так что, и на общественном фронте был швах, меня считали идейной, но что за идея такая, уже никто, даже, наверное, наш свирепый директор школы – одно имечко чего стоило, Сталина Александровна, в честь отца народов, а? – тоже не имела ровно никакого понятия. Много трепались о свободе, в основном печати, учителя, конечно, нам-то что? Только вся эта свобода отчего-то сводилась к новообъявленной газете «Спид-инфо». И к каким-то торговым операциям, за которые теперь вроде бы не сажали, кроме валютных, разумеется. Короче, где-то на четвертом году моего обучения в престижной английской, наше среднее образовательное заведение стало напоминать товарно-сырьевую биржу времен Дикого Запада, только деньги еще непосредственно были в ходу. Балаган, одним словом.

У нас, кстати, тоже появились чудеса буржуазного быта. Не какой-нибудь «маг» или «телек», в нашем доме они уже стояли, фирмы «сони», между прочим. Настоящий «видак», не «Электроника», нет, родной «Хитачи», системы пал-секам, мать сама и подключала, никакие умельцы в помощь ей были не нужны. Мы и сантехника-то сроду не вызывали, матери раз плюнуть, что труба, что «толчок», что газовая колонка. А «видак» мы получили на купоны, это было что-то вроде внутренних расчетных чеков, когда прилавки стали пустеть совсем, и деньги почти обесценились, для своих нефтяников-газовиков ввели эти самые купоны. Типа зарплату выдавали отчасти талонами. И товары завозили заграничные, от всяких там кастрюль даже вплоть до автомобилей. Оно конечно, если бы народ подался с разработок, то вовсе беда – откуда валюту брать на содержание государства. Хотя мать говорила, не золото надо из земли качать, а Горбача гнать из генсеков в золотари, может, какая-то польза. Ей был отчего-то симпатичен предсовмина Рыжков, но вот того действительно скоро поперли. Мать сказала – вероятней всего из-за обмена денег, порядочный человек на такую погань ни за что не пойдет, чтоб совсем людей заедать. Нам-то менять было нечего, когда это у матери деньги держались, да еще в купюрах по сто рублей? Мы не копили на черный день ничего. Мать учила меня – на черный день нужно копить мозги, связи нужно копить и дружеские отношения, а деньги на черный день – это тормоз. Сидеть и ждать, пока прожрешь их и пропьешь, авось, облегчает само по себе? Нет, надо вставать и драться за себя как раз в черный день, тут мудрость, прямо по Апокалипсису. Когда нет ничего, когда жизнь на волоске, тогда человек горы свернет, ему уже не страшно. Я запомнила.

Я вообще чувствовала, что-то происходит. Не у нас дома, в мире вообще. Ну, как я его понимала. Соцлагерь там, Варшавский договор, дружба между народами развивающихся стран. Я успела это впитать, идеальный мой мир принял преподанное мне с радостью, это была как раз сказка о справедливости и счастье, но вот, блин, мне пришлось узнать самое ужасное: для меня ужасное. Все вечное, все бессмертное, оно даже не на века. То, что называют так, однажды кончается, и кончается, не пойми чем. Может, где-то на Луне и существует борьба идей, на самом деле, когда поддыхает одна идея, то вовсе не потому, что ее приканчивает какая-то другая. Когда идея поддыхает, особенно идея великая, то, блин, на ее месте остается «дико поле». То есть мусорная свалка. А уж тут – кто чего найдет, и чем разживется. Того же качества. В школе вдруг стали покупать оценки. Не в смысле – подарки учителям, это всегда происходило. Открыто стали покупать – у нас, у пяти-шестиклашек еще не очень, но у выпускников чуть ли ни официальные расценки – золотая медаль десять тысяч, серебряная пять. Охотней всех платили местные, ассимилировавшиеся кавказцы, они привыкли никому и ничему не доверять. Еще в нашей школе в первый раз, наверное, за всю ее недолгую историю, в подпольной продаже стали ходить наркотики. Настоящие, страшные, не какие-то там «солутаны» или «феназепамы», ага! Героин не хотите? Между прочим, «торговал» его не кто иной, как внук генерального прокурора нашего края. Учительская была в шоке, родители были в шоке, мили-

ция и та, была в шоке, но ничего не произошло, дед отмазал – мальчик, дескать, нашел возле отхожего бака пакет, думал, сахарная пудра, он же не знал, откуда ему знать? Мальчик под два метра ростом, усы брил, жлоб и мразь, но ничего, сошло с рук. А мой идеальный мир еле-еле удерживал равновесие. Только благодаря тому, что мать все твердила: через тернии к звездам, *per aspera ad astra*. Испытания закаляют, в них рождается новый мир, а кризис временный, не такое перебарывали, и все кивала на кооператоров – отдать нафиг легкую промышленность в частные руки, камень на шее, пусть ее, для Госплана спасение, что баба пудов на семь с ветхого воза. И все приводила в пример Дэн Сяопина и Китай, тогда уже понимала то, что мы только сейчас, когда наглядно увидели. Я ей верила свято. Хотя в школе стало тяжело, как некогда в детском саду – но там никто не грозился убивать за оценки. Мать ведь подарков не носила, ей даже в голову такое не приходило. А от меня ждали. Потому – мы были богатые, по всяким тогдашним меркам, «видак» там, ангорковые свитера, джинсы все на те же купоны, мать, конечно, одевала меня во что придется, но это «что придется» – надо понимать, не на фабрике «Большевичка» было сделано. Она просто об этом не думала долго – сносились, на тебе новое! Какое? Ну, какое-нибудь, и не всегда в размер, чаще на вырост. Могла притащить из-за бугра кроссовки «найк», невиданное диво, ага, тридцать седьмого размера на мой тридцать четвертый, ничего, ваты напхай и сойдет! Зато отстанешь надолго. Я считала – нормально. Смеялись надо мной не очень-то, все же «найк», хоть с бальным платьем, хоть с брючным костюмом, годится – историк моды Васильев точно рехнулся бы и попал в дурдом, услышав подобные рассуждения. Но тогда именно так все и было, особенно в богатой провинции. Смотрели на «фирму» и «мейд ин», к лицу или к попе, широко или узко, цвет, размер, фасон – значения не имело. О чем я? Ага. Короче, ждали от нас подачек. А их не было. И мне стали щемить хвост. До прямой подлости доходило. Была у нас одна крыса. Лариса. Учительница математики. Классная учительница, между прочим. У нее был высокий талант – так объяснять, будто детектив пересказывает, мы только-только начальную школу прошли, даже не подозревали, что всякие там уравнения – это прикольно. Вот она, крыса Лариса, сумела нас заинтересовать. Мы жили на ее уроках рвали. Скорее бы алгебра с геометрией, вот о чем мечтали, все из-за нее. Вот только... корыстная была, хуже Плюшкина. За подарки могла накинуть оценку распоследней бездари. А мне наоборот, резала, как могла, придиралась на ровном месте. Однажды я обнаружила откровенный подлог – в тетрадке у меня по безупречной контрольной «пятак», а в журнале «тройбас» стоял. Я случайно заметила – попросила «англичанка» отнести в соседнюю группу классный журнал, и дернул меня черт открыть – мать сказала, еще раз четверка по математике в четверти, отдам в детский дом, все равно толку с тебя: может пустая угроза, но что худо бы пришлось, оно вернее, чем угадать одно из одного. Я пошла разбираться. Тут же. Не в соседнюю группу, а в ее класс. Ну и получила. По башке, в фигуральном смысле. Докладную директору, за то, что без разрешения лазила и мало ли что там натворила, в этом журнале. Терять мне было нечего. Я все выложила матери. На свой безумный страх и риск. Вариантов было два – или моральное полное уничтожение, мать терпеть не могла все эти школьные дела, даже на собрания родительские не ходила, посылала очередника-отца, – или плюнет и скажет: ладно, пусть подавятся, сволочи. Но вышло все по третьему, совершенно иначе. Я разбудила ураган. Баллов этак в сто. Мать орала, я сроду не слышала, чтоб она так орала. С вечера до утра, без передыха. Не на меня. О том, что оценки, это вам не шутка, это государственное удостоверение ребенку, и подделка его – тяжкое преступление. Почему я, дурища растреклятая, безмозглая, сразу ей не рассказала? Наутро мать ворвалась в школу. Именно, именно. Ворвалась. Как цунами в безмятежную японскую деревню. С такими же последствиями. Дети и учителя в тот день услышали и узнали много нового. В смысле слов, которые обычно употребляют промеж себя буровики, когда натываются в мягком грунте на базальтовую плиту. Очень жестоженно. Объяснив директору суть своего глубокого душевного возмущения – директриса, хоть по имени она и Сталина Александровна, только жалко улыбалась и ежилась, мать орала на

нее в коридоре прямо во время утренней линейки, – моя благоверная родительница заявила, что немедленно берет с собой этот злосчастный журнал и едет с ним в гороно. За ней бежали до самой учительской, отобрать журнал даже в голову никому не приходило, мать бы, наверное, школу разнесла, она была ко всему женщина не только боевая, но и крупная, даже наш физрук Иван Кириллович, бывший штангист, не сладил бы с ее габаритом. Умолили. Обещали. Оценку исправили на глазах. Мать поверила. Кивнула небрежно свысока и ушла. Королевы так не ходят! То-то. Я увидела – идеальный мой мир пока что устоял. Я еще не знала, что это плохо. А математичка начала тихо сживать меня со свету. Подколки, насмешечки, травля при помощи мелких подхалимов, такие всегда есть в любом классе, но я плевать хотела – главное, оценки, они теперь были по заслугам. Во как! Хотя в мою сторону косились.

Но ничего, я училась, я старалась изо всех сил, для своего идеального мира, своего и маминого, даже завела двух близких друзей, в кои-то веки, одна была ничего себе, Ирочка, тихая, очень музыкальная девочка, другой, Темка, прямо хорош. До этого со мной дружили как бы до кучи, но вот у меня объявились мои личные, настоящие друзья. Как-то стало чудесней жить. Я смеялась тогда часто, все казалось мне поправимым, ведь это был мой идеальный мир. А время – тем временем, – упорно шло вперед. Пока однажды не остановилось. И все кончилось. Мне тогда так казалось. Что все хорошее вдруг кончилось. А просто началась другая жизнь. Просто такая у людей жизнь. Обычно она такая. Вот и всё. Я этого тогда не знала тоже...

«Исправленному верить»

Просто такая у людей жизнь. Незамысловатые, эхом отозвавшиеся слова поразили его. Леонтий задумался накрепко, не только позабыв о параноидальном страхе «открытой двери», но и напрочь о работающем ноутбуке, батарейка сдохла нафиг, экран потух, а он все сидел и сидел, как болванчик, обложенный подушками, слегка покачивая больной головой, оторопелый и переваривающий. Такая жизнь. Не то ли сам он повторял изо дня в день лет этак последних..., ну скажем, двадцать. Повторял и повторял себе и про себя, никогда вслух, ни к чему окружающим знать сокровенный его секрет, его открытие, оно принадлежало исключительно его душе, и никому больше. А тут вот. То же самое сказали ему, сказали за него, пусть не так, пусть в каком-то странном, бравурном смысле, без горечи сказали, что поразительно. Обыденно и бесстрашно сказали, и даже стали с этим жить. Не переносить и претерпевать. А жить, словно бы по закону. Закон гласил: просто такая у людей жизнь. Другой нету. И вовсе не в продолжение темы – смирись, братец. Отнюдь нет. Такая жизнь – это ведь хорошо, при ней лишь и есть человек, как человек, наверное, он, Леонтий, все верно понял. И тут-то ему стало страшно на самом деле, не мифического взлома и проникновения злоумышленников, ему стало страшно – как некогда в детстве, не однажды, приходила мысль, что вот он, Леонтий Гусицын, непременно умрет. Не смерть страшила его особенной стынущей глубиной, что смерть! Если геройская, может, он и сам согласен! Неизбежность ее – хоть плачь, хоть умоляй, тоже такая жизнь, она кончается всегда. От этого «всегда» именно и было плохо, до невыносимости, выход существовал один – не думать, заставить себя и не думать, что здесь выбора не дано. Теперь было похоже. Просто такая у людей жизнь. И хоть обвыбирайся. Ладно, когда так считал он один, куропатка хлопотливая, кузнечик на острие травинки, но сказал кто-то другой. По-видимому, много сильнее его. То же самое и слово в слово. Значит, правда. Значит, так все и есть. Хоть стой, хоть падай, хоть выйди, и снова зайди. Хоть задом наперед.

Он уже знал, что совершил ошибку. Не то, чтобы роковую, однако не стоило в его разобранном состоянии, как психическом, так и физическом, затевать столь серьезное дело, но может быть, он слишком долго ждал этого письма, так долго, что и сам позабыл о своем ожидании, все же прочтение вышло несвоевременным. Не из-за страха, что страх? Все проходит, и это пройдет, останется голая мысль и правда, можно не думать, можно смириться. Тревожило его лишь то, что неожиданно для него осталось в осадке ощущений. Имя этому чувству было – чужеродность. Полная, ни в каком месте не совпадающая чужеродность восприятия, будто бы он пообщался, пусть не лично, по переписке, с негуманоидом-инопланетянином, и тот поведал Леонтию все прелести поедания изысканно приготовленного полевого шпата в соусе из серной кислоты. У Леонтия ведь тоже имелся свой собственный, отчасти врожденный идеальный мир – он думал теперь, что если и он исключение из неизвестного ему правила, быть может, хоть это-то свойство есть нечто общее между ним и пока еще неясной до конца Сциллой. Правда, мир его, идеальный только для одного Леонтия, не имел ничего общего с какой-либо глобальной идеей добра и справедливости, или недобра и несправедливости, все было в его случае значительно проще – так казалось. И как следствие, то, что выпадало за рамки его представления об этом идеале, воспринималось им будто аномальный казус, патология, смертельная болезнь, разъедающая бытие. Его перевернуло, вывернуло, возмутило, что? Да вот хотя бы – упоминание в долгожданном письме, без сомнений биографическом, пьянок-гулянок безответственной матери, он тоже готов был вздохнуть с пресловутой соседкой, тетей Олей – несчастное житие, несчастный ребенок, и дальше сакраментальное «по мужикам!». Он мог представить в абстракции – да, некоторые бывают вполне довольны, когда такое у них житие. Представить, но не переложить на себя, не дай бог! Вот что бы он честно воскликнул, спроси

Леонтия в данный момент кто-нибудь посторонний. Он думал не так, и представлял не так. Он вырос и воспитался – не так.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.